3 1761 08106718 3

Severnoe utro
sb.1 (1922)

AP
50
S48
sb.1

Purchased for the

LIBRARY *of the*

UNIVERSITY OF TORONTO

from the

KATHLEEN MADILL BEQUEST

СЕВЕРНОЕ УТРО

СБОРНИК ПЕРВЫЙ

ПЕТЕРБУРГ
1922

СЕВЕРНОЕ УТРО

СБОРНИК ПЕРВЫЙ

А. АХМАТОВА, Б. ПИЛЬНЯК, В. РОЖДЕСТВЕНСКИЙ,
ВЯЧ. ШИШКОВ, В. ИРЕЦКИЙ, М. ЛЕВБЕРГ, П. ГУБЕР,
О. ШПЕНГЛЕР, Т. ДЕЙБЛЕР.

ПЕТЕРБУРГ
1922

LIBRARY
DEC 1 1969
UNIVERSITY OF TORONTO

AP
50
S48
sb.1

Отпечатано в 25-й Государственной
типографии в количестве 1000 экз.

Р. Ц. № 1033
Петербург

Что ты бродишь, неприкаянный,
Что глядишь ты, не дыша?
Верно понял: крепко спаяны,
На двоих одна душа.

Будешь, будешь мной утешенным,
Как не снилось никому,
А обидишь—словом бешенным,
Станет больно самому.

1921 Анна Ахматова.

КОЛЫМЕН-ГОРОД [1]).

Колымен — значит: широк, обилен, богат.

Город—древен, с кремлем, соборами, четырьмя монастырями. Некогда правили здесь Василий Темный, Василий Шемяка, у Никиты-Подземного молился перед Куликовым полем Дмитрий Донской. Каменный город лежит на Великом Водном Пути—издревле славен торговлею и старыми торговыми купеческими именитыми родами.

На кремлевских городских воротах написано:

«Спаси, Господи,
«Град сей и люди Твоя
«И благослови
«Вход во врата сии».

Рассказ этот — о купцах, о купце Иване Ратчине и сыне его, Донате.

Вот выписка из Книги Постановлений Колыменского Сиротского Суда:

«1794-го года Генваря 7-го дня Понедельник в присутствии Колыменского Городового Сиротского Суда — господа присутствующие прибыли в двенадцатом часу пополуночи:

«Дементий Ратчин, градский голова. Ратманы: Семен Тулинов, Степан Ильин, Степан Забров, градский староста.

«Слушали...

«Постановили: Градского голову Дементия Ратчина, мужа имеишта и честна, благодарить и чествовать.

«Расписались...

«Из присутствия вышли во втором часу пополудни и последовали в Собор для молебствия».

---

[1]) Рассказ этот, с согласия автора, перепечатывается из его книги «Былье», вышедшей в 1918 г. и не получившей распространения.

Постановление это было написано ровно за сто лет до рождения Доната, Донат же нашел его, когда громил Колыменский Архив. Было это постановление написано на синей бумаге гусиным пером, с затейливыми завитушками.

Двести лет числил за собой именитый купеческий род Ратчиных, раньше держали соляные откупа, торговали мукою и гуртами,—двести лет (прадед, дед, отец, сын, внук, правнук) на одном месте в соляных рядах (теперь уничтожены), на Торговой площади (теперь Красная), каждый день стояли за прилавком, щелкали на счетах, играли в шашки, пили из чайника чай (с тем, чтобы остатки восьмерками расплескивать по полу), принимали покупателей, шугали приказчиков, мудровали [1]) над приказчиками.

Иван Емельянович Ратчин, правнук Дементия, отец Доната, сорок лет тому назад, кудрявым юношей, стал за прилавок—с тех пор много ушло: иссох, полысел, надел очки, стал ходить с тростью, всегда в ватном сюртуке и в ватной фуражке. Родился здесь же, в Зарядье, в своем двухэтажном доме за каменными воротами с волкодавами, сюда ввел жену, отсюда вынес гроб отца, здесь правил.

В кремле были казенные дома и церкви, под кремлем протекала река Колыменка, за Колыменкой лежали луга, Ямская слобода (железная дорога в те времена проходила в ста верстах), Реденев монастырь. Первыми просыпались в кремле гуси (свиней в кремле не водилось, ибо улицы были обулыжены). Вскоре за гусями показывались кабацкие ярыги, нищие, юродивые. Шли в управление будочники со столами на головах: издал по губернии губернатор распоряжение, чтобы делали надзиратели ночные обходы и расписывались в книгах, а книги приказал припечатать к столам—надзиратели и расписывались, только не ночью, а утром в канцеляриях, куда приносили им столы. Ночью же ходить по городу дозволяли неохотно, и если спросонья будочник спрашивал:

[1]) Мудровать—издеваться.

— Кто идет?!— надо было всегда отвечать:

— Обыватель!

В канцеляриях и участках, как и подобает, били людей, особенно ярыг, жестоко и совершенно; специалистом был околодочный Бабочкин.

Кабацкие ярыги собирались у казенки спозаранку, садились на травку и терпеливо ожидали открытия. Проходили, осеняясь крестами, купцы. Прибегал с реки с удочками страстный рыболов отец благочинный Левкоев, спешил с ключами в ряды, открывать епархиальную свою торговлю: благочинный Левкоев человеком был уважаемым, и единственным его пороком было то, что по летам из карманов его ползли черви, результат его рыбной страсти (об этом даже доносил епископу поэт-доносчик Миряев). Ярыга Огонек-Классик кричал отцу:

— Всемилостивейший господин!... понимаете?... — но батюшка, спеша, только отмахивался.

А сейчас же за батюшкой выходил из своей калитки, в кителе, с зонтом и в галошах, учитель Бланманжов, следовал за батюшкой в епархиальную торговлю попить чайку и заняться ческой [1]). Огонек (светлое пятно) уверенно шел к нему, говорил:

— Великодушный господин!... Vous comprenez?... Вам говорит Огонек-Классик... — и Бланманжов давал семитку. Бланманжев был знаменит географией и женой, которая в церковь ходила в кокошнике, дома — голая, а летом и осенью фрукты из своего сада продавала в окошко в одной рубашке.

Приходил к казенке боец Трусков, пил пару мерзавцев. Приходили, проходили на базар торговки, разносчики. Ярыги покупали собачьей радости [2]) и разбредались по своим делам. Заезжали извозчики на своих калибрах [3]), спросонья говорили:

---

[1]) Ческа—сплетни.

[2]) Собачья радость—вареный рубец.

[3]) Калибра—кабриолет.

— Пожа... Пожа!...

А над городом поднималось солнце, всегда прекрасное, всегда необыкновенное.

Над землею, над городом проходили весны, осени и зимы, всегда прекрасные, всегда необыкновенные...

Веснами старухи с малолетками ходили к Николе Радованцу, к Казанской на богомолье, слушали жаворонков, тосковали об ушедшем. Осенями мальчики пускали змеев с трещотками. Осенями, зимним мясоедом, после Пасхи работали свахи, сводили женихов с невестами, купцов с солдатками, вдовами и „новенькими". На смотринах почтовые чиновники разговаривали с невестами о литературе и географии: невеста говорила, что она предпочитает поэта Лажечникова, а жених предпочитал Михаила Лермонтова, разговор иссякал, и жених спрашивал про географию, невеста говорила, что она была у Николы Радованца, а жених сообщал про Варшаву и Любань, где он отбывал воинскую повинность. На Николу Вешнего, на Петров день, на Масляную были в городе ярмарки, приезжали шарманщики, фокусники, акробаты, строились балаганы, артисты сами разносили афиши, и после ярмарок купцы ходили тайком к доктору Елеозарычу. Зимой по субботам ходили к Водопойщику в баню, Водопойщик устраивал деревянный навес до самой реки, до проруби, и купцы, напарившись крепко, летали стремительно нагишом до проруби, окунуться раз другой. По воскресеньям же зимами были кулачные бои, бились с ямскими и редневскими, начинали с мальчишек, которые кричали: „Давай! Давай!", кончали стариками,—но это не мешало вечером катить купцам в Ямскую к цыганам, веселиться и размножать крупичатых цыганят, а на обратном пути выворачивать фонарные столбы. Под Рождество до звезды не ели, на первый день славили Христа и рассказывали рацеи [1]), в Крещенский сочельник на всех дверях мелом ставили кресты.

[1]) Рацеи—истории из жизни Христа.

События в городе бывали редки, и если случались „камеражи“, в роде следующего:

— Мишка Цвелев - слесарев с акцизниковым сыном Ипполиткой привязали мышь за хвост и играли с ней возле дома, а по улице проходил зарецкий сумасшедший Ермил-Кривой и—давай в окна камнями садить. Цвелев - слесарь на него—с топором. Он топор отнял. Прибежали пожарные—он на пожарных с топором: пожарные—теку. Один околодочный Бабочкин и справился. Мишку потом три дня драли,—

то весь город полгода об этом говорил. Раз в два года убегали из тюрьмы арестанты, тогда их ловили всем городом, и каждый мог бить арестантов сколько было не лень.

В Соляных рядах на Торговой площади около эпархиальной лавки стоял рундук—единственная книжная торговля—под вывеской:

ПРОДАЖА И ПОКУПКА
учебниковъ, чернилъ, пѣрьевъ
и ручекъ
и ПРОДЧИХЪ періодическихъ
писчебумажныхъ изданій
А. В. МИРЯЕВА.

Под рядской иконой Сорока свв. Великомучеников помещалась епархиальная торговля. У рядской иконы служили столько молебнов, сколько было именин у рядских купцов. В епархиальной лавке иконы не покупались, а выменивались: меняльщик покупал новый картуз, клал в него деньги и менял на икону; картузы шли в духовное училище. Заведывал епархиальной торговлей о. благочинный Левкоев, мечтавший, по примеру Иисуса Христа, учредить рыболовное братство и на общем собрании обсудить давно назревший вопрос о том, как ставить лодки для рыбной ловли—на якорях, камнях или привязи. В епархиальной лавке играли в шашки и собиралась интеллигенция—Бланманжов, А. В. Миряев. Клуб же коммерческий был у мыльника Зяброва, любителя пожаров. У него всегда сидели аблокаты и языки (слово и дело!): аблокаты писали кляузы и бумаги, языки

свидетельствовали все, что угодно. По рядам таскались нищие, юродивые—Зябров над ними потешался: зимами примораживал слюной к каменному полу серебряные пятаки и приказывал нищим отдирать их зубами в свою пользу, летом предлагал за гривенник выпить ведро воды (дурачек Тига-Гога выпивал) или устраивал гонки, точно на пожарном параде. Потешался Зябров и над прохожими: выкидывал за дверь часы на нитке, бросал конфектные коробки с тараканами или с дохлой крысой. В каменных рядах было темно, сыро, пахло крысами, гнилыми кожами, тухлыми сельдями.

Иван Емельянович Ратчин, высокий, худой, в ватном картузе, приходил в свою лавку без пяти минут семь, гремел замками и поучал мальчиков и приказчиков своему ремеслу: надо было при покупателях говорить:

не—дают, а—жалуют,
не—уступить, а—сколоть,
не—продавай, а—приказывай,
не—торгуйся, а—божись,
не—150 руб. 50 коп., а—арци-иже-он кон иже-он кун.
не—90, а—твердо-он,

покупателям надо было двери отворять и за ними затворять: не обмеришь, не обманешь—не продашь. Затем Иван Емельянович уходил в конторку, щелкал на счетах, читал вслух Библию, в конторку же призывал и провинных (а мальчиков и без вины) и под вечной лампадой проучивал, смотря по вине—или двухвосткой, или вологой [1]). В двенадцать приходил хлебник—давал на хлебника приказчикам—пятак, а мальчикам—3 копейки. Выходил к о. Левкоеву играть в шашки, по гривеннику партия, — молча обыгрывал всех: ческой не любил заниматься. С покупателями говорил строго, только с оптовыми.

Запорка [2]) была в половину восьмого, а в восемь по рядам бегали волкодавы, рядские собаки. В девять город за-

[1]) Волошка—черлоковый прут.
[2]) Запорка—закрытие лавок.

сыпал, и на вопрос:—Кто идет?!—надо было отвечать, чтобы не угодить в участок:

— Обыватель!..

И был в Колымене один человек не от мира колыменского,— это святой Данилушка. Был он наг и бос, носил вериги, был иконописен, рыжебород, синеок. Если Иван Емельянович был (неизвестно почему) жесток и злобен, то Данилушка (тоже неизвестно почему) был добр. Он был строг, он был прост,— доброта его была аскетически проста, строга. Взгляд его был покоен — Данилушка умел ясновидеть и говорить только правду, или ничего не говорить. Как жил он—никто не знал, появлялся на улицах он редко. У него была на окраине чистая светелка, в геранях и бальзаминах.

В доме (за волкодавами у каменных глухих ворот) Ивана Емельяновича было безмолвно, лишь вечерами из подвала, где жили приказчики с мальчиками, неслось придавленное пение псалмов и акафистов. Дома у приказчиков отбирались пиджаки и штиблеты, а у мальчиков штаны (дабы не шамонали [1]) по ночам), и сам Иван Емельянович регентовал с аршином в руке, которым „учил". В подвале окна были с решетками, лампы не полагалось—горела лампада. Вечером за ужином Иван Емельянович сам резал во щах солонину, первый зачерпывал щи деревянной ложкой, зевавших бил ею по лбу, и солонину можно было брать, когда сам говорил:

— Ешь со всем!

Ивана Емельяновича звали не иначе, как—сам и папаша. Жили под пословицей: „папаша придет—все дела разберет" [2]). Была у Ивана Емельяновича дебелая жена, гадавшая на картах о червонном короле, но в постель с собой клал Иван Емельянович не ее, а Машуху, доверенную ключницу. Перед сном у себя в душной спальне Иван Емельянович долго мо-

---

[1]) Шамонали – шлялись.

[2]) Пословица гласит:

«Дело не наше, сказала мамаша,
Папаша придет—все дела разберет».

лился—о торговле, о детях, об умерших, о плавающих и путешествующих, читал псалмы. Спал чутко, мало—по-стариковски. Вставал раньше всех, со свечею, снова молился, пил чай, приказывал—и уходил на весь день в лавку. Дома без него было легче (быть может потому, что это был день?), и из каморок выползали к „самой“ приживалки. Каждую субботу после всенощной Иван Емельянович порол сына Доната. На Рождество и на Пасху приезжали гости — родня. 24-го июня (после пьяной Ивановой ночи!), в день именин, на дворе нищим устраивался обед. В прощенное воскресенье приказчики и мальчики кланялись Ивану Емельяновичу в ноги и он говорил каждому:

— Открой рот, дыши! — чтобы учуять водочный запах.

Так, между домом, лавкой, библией, поркой, женой, Машухой прошло сорок лет. Так было каждый день—так было сорок лет, это срослось с жизнью, вошло в нее, как вошла некогда жена, вошли дети, как ушел отец, как пришла старость.

Сын Ивана Емельяновича, Донат, родился мальчиком красивым и крепким. В детстве у него было все: и бабки, и чушки, и купанье в реке у Перевозчика, и змеи с трещоткой, и голуби, и силки для гусят, и катанье на простянках [1]), и покупка-продажа подков, и кулачные бои—это было в дни, когда, за малым его ростом, Доната не замечали. Но к пятнадцати годам Иван Емельянович его заметил, сшил ему новые сапоги, картуз и штаны, запретил выходить из дома, кроме, как в училище и церковь, следил, чтобы он научился красиво писать, и усиленно начал пороть по субботам. Донат к пятнадцати годам возрос, кольцами завились русые кудри. Сердце Доната Бог создал для любви. В училище учитель Бланманжов заставлял Доната, как и всех учеников, путешествовать по карте: в Иерусалим, в Токио (морем и сушей), в Буенос-Айрес, в Нью-Йорк,—перечислять места, широты и долготы, описывать города, людей и природу — городское

[1]) Простянки—пустые розвальни в обозе.

училище было сплошной географией, и даже не географией, а путешествием, Бланманжов так и задавал: выучить к завтрому путешествие в Иоркшир. И в эти же дни расцвела первая любовь Доната, прекрасная и необыкновенная, как всякая первая любовь: Донат полюбил свою комнатную девушку Настю, черноокую и тихую. Донат приходил вечерами на кухню и читал вслух жития свв. отцев. Настя садилась напротив, опирала ладонями голову в черном платочке—и пусть никто, кроме ее не слушал: Донат читал свято, и душа его ликовала. Из дома уходить было нельзя—великим постом они говели, и с тех пор ходили в церковь каждую вечерню. Был прозрачный апрель, текли ручьи, устраивались жить птицы, сумерки мутнели медленно, перезванивали великопостные колокола, и они, в сумерках, держась за руки, в весеннем полусне, бродили из церкви в церковь (было в Колымене 27 церквей), не разговаривали, чувствовали, чувствовали одну огромную свою радость. Но учитель Бланманжов тоже ходил к каждой вечерне, приметил Доната с Настей, сообщил о. Левкоеву, а тот Ивану Емельяновичу,— Иван Емельянович, призвав Доната и Настю и задрав Настины юбки, приказал старшему приказчику (при Донате) бить голое Настино тело вологами, затем (при Насте), спустив Донату штаны, порол его собственноручно, Настю прогнал в тот же вечер, отослал в деревню, а к Донату на ночь прислал Машуху. Учитель Бланманжов заставил Доната на другой день путешествовать через Тибет к Далай-Ламе и поставил единицу, потому что к Далай-Ламе европейцев не пускают. Тот великий пост, с его сумерками, с его колокольным звоном, тихие Настины глаза — навсегда остались прекраснейшим в жизни Доната.

Вскоре Донат научился у приказчиков лазить ночами в форточку через выпиленную решетку и через забор в город, в Ямскую слободу, в „Европу“ за водкой. Стал ходить с отцем за прилавок. По праздникам рядился, ходил гулять на Большую Московскую. Сдружился с иеромонахом Белобородского монастыря, о. Пименом. Летом заходил к нему

ранними, росными утрами, вместе купались в монастырском пруде, гуляли по парку, затем в келии, за фикусами, под канарейкой, в крестах и иконах, выпивали черносмородиновой, о. Пимен рассказывал о своих богомолицах и читал стихи собственного сочинения, в роде следующего:

О, дево, крине рая!
Молю тя воздыхая:
Воззри на мя умильно,
Тя возлюбих-бо сильно [1]).

Иногда к ним примыкали и другие монахи, тогда они шли в потаенное место, в Маринину башню, посылали мальчишек за водкой, пили и пели „коперника“ [2]) и „Сашки-канашки“ с припевом на мотив „со святыми упокой“. Иногда вечерами о. Пимен надевал студенческую куртку, и они с Донатом отправлялись в цирк. Монастырь был древен, с церквами, вросшими в землю, с хмурыми стенами, со старыми звонницами, — и Пимен рассказывал Донату старые колыменские предания.

Пимен же познакомил Доната и с Урываихой. Июньскими бледными ночами, перебравшись через забор, с бутылкой водки, Донат шел к затравленной, сданной купцами под опеку, красавице-вдове миллионера-ростовщика Урываева, стучал в оконце, пробирался через окно в ее спальню, в дву-

[1]) Вот продолжение стихотворения:

Черпец аз есмь смиренный,
Зело в тебя влюбленный,
Забывый об обете
(Держи сие в секрете!)
И, аще не противен,
Тебе аз, грешный Пимен,
Молю лобзанье дати.
В субботу аз тя ждати
У врат священных буду.
Затем. . . порнография.

[2]) Коперник целый век трудился...

спальную постель. Любились страстно, шептались, говорили-ненавидели-проклинали. Ростовщик Урываев—семидесятилетним—семнадцатилетней взял Оленьку в жены для монастырского блуда, вытравлял в ней все естественное, умирая, завещал ей опеку. Красавица-женщина спилась, кликушествовала: город ее закорил, замудровал... Но и эта последняя любовь Доната была недолгой — на этот раз донес, донос в стихах написал поэт-доносчик А. В. Миряев.

Кто знает?

Кто знает, что было бы с Донатом?

В 1914 году в июне, в июле горели красными пожарами леса и травы, красным диском вставало и опускалось солнце, томились люди в безмерном удушии.

В 1914 году загорелась война и за ней—в 1917 году — революция.

В древнем городе собирали людей, учили их ремеслу убивать и отсылали на Беловежские болота, в Галицию, на Карпаты — убивать и умирать. Доната угнали на Карпаты. В Колыме провожали солдат до Ямской слободы.

Первым погибнул в городе Огонек-Классик, честный ярыга, спившийся студент, умер — повесился, оставив записку:

«Умираю потому, что без водки жить не могу. Граждане и товарищи новой зари! когда класс изжил себя — ему смерть, ему лучше уйти самому.

Умираю на новой заре!»

Огонек-Классик умер пред новой зарей.

В девятьсот шестнадцатом году провели мимо Колымена железную дорогу, и последний раз схитрили купцы, „отцы города": инженеры предложили городу дать взятку, и отцы города изъявили на то свое согласие, но назначили столь мало, что инженеры почли долгом поставить станцию в десяти верстах. Поезда мимо города пробегали, как угорелые, и все же первый поезд встречали обыватели как праздник— вывалили к Колыменке, а мальчишки для удобства полезли на крыши и ветлы.

И первый поезд, который остановился около самого Колымена — это был революционный поезд. С ним вернулся в Колымен Донат, полный (недоброй памяти!) воспоминаний юношества, полный ненависти и воли. Нового Донат не знал, Донат знал старое и старое он хотел уничтожить. Донат приехал творить — старое он ненавидел. В дом к отцу Донат не пошел.

По древнему городу, по мертвому кремлю ходили со знаменами, пели красные песни,— пели песни и ходили толпами. когда раньше древний кононный купеческий город, с его монастырями, соборами, башнями. обулыженными улицами, глухо спал, когда раньше жизнь теплилась только за каменными стенами, с волкодавами у ворот. Кругом Колымена лежали леса—в лесах загорелись пожары барских усадеб, из лесов потянулись мужики с мешками и хлебом.

Дом купца Ратчина был взят для красной гвардии. В доме Бланманжова поселился Донат. Донат ходил всюду с винтовкой, кудри Доната вились попрежнему, но в глазах вспыхнул сухой огонь—страсти и ненависти.

Соляные ряды разрушили. Из-под полов тысячами разбегались крысы, в погребах хранилась тухлая свинина, в фундаментах находили человеческие черепа и кости. Соляные ряды рушились по приказу Доната. на их месте строился Народный Дом.

Вот и все.

Вот еще что (кому не лень. иди, посмотри!): каждый день без пяти семь утра к новой стройке Народного Дома. как раз к тому месту, где была торговля „Ратчин и Сын", приходит каждый день древний старик, в круглых очках, в ватном картузе, с иссохшей спиной, с тростью, — каждый день садится около на тумбу и сидит здесь весь день, до вечера, до половины восьмого. Это—Иван Емельянович Ратчин, правнук Дементия.

В городе—голод, в городе—скорбь и радость, в городе—слезы и смех. Над городом идут весны, осени и зимы. По новой дороге ползут мешечники, оспа и тиф.

И—опять—один человек остался в стороне от всех—Данилушка. Иконописный, рыжий, синеокий, ходит в веригах, наг и бос. Данилушка принял революцию, ждет и верит, верит: придет истинный, подлинный—в лаптях—Христос, которого встретят красным звоном. Он попрежнему добр и правдив, но теперь иссякла его строгость—синие глаза его лучатся тихо и скорбно.

На кремлевских колыменских воротах написано:

«Спаси, Господи,
Град сей и люди Твоя
И благослови
Вход во врата сии».

Б. Пильняк.

М. К. Н.

Трудна дорога акмеиста
В дремучей чаще новых дней,
Но сделать душу из батиста
Еще прекрасней и трудней.

Немного кисеи и шелка,
Две бусинки для острых глаз —
И вдохновенная иголка
Докончит начатый рассказ.

Тоска меня уже не душит,
Я звезды вижу наяву,
Я сам, как маленькие души,
В батистовой стране живу.

Шуршит веселая дорога,
Любовь как облако светла,
И твердо помнишь, что у Бога
Есть шелк и мудрая игла.

Всеволод Рождественский.

ВЕТЕР.

Эй, куда! За табачным дымом,
За тревожною гарью дня
Гонит он на коне незримом
Голубых лебедей огня.

Подожди меня, конник чудный,
Подожди! Но не слышит тот
И копытом из песни трудной
Синекрылые искры бьет.

Так горит моя жизнь, и песней
Закружило прекрасный прах...
Звезд мудрей и огня чудесней
Божьи весла в моих руках!

Всеволод Рождественский.

ПАДУЧАЯ.

Народ в селе Хитроглазове был на особицу: ловкий, изворотливый, мужики до всего доходили своими головами, из речушки провели на свои поля канавы—везде, бывало, нивы чахнут, у них зеленя кругом, соорудили общественную мельницу, да круподерку, прикупили у вальяжной барыни лесок...ну, словом—паны.

А главная-то сила вот в чем. В соседних деревнях коровы телились к Рождеству, у хитроглазовцев—по осени. Передвигать назад эту стрелку производства они усвоили во времена седые, никто и не запомнит. Пробовали подражать им и соседи, да вышла такая ерунда, что ах...

Чрез это самое в карманы хитроглазовцев перепадал изрядный куш: по осени во всем уезде самое безмасляное время, у них—хоть каждый день блины пеки. В эту пору наезжали к ним на базар со всяких мест, даже из Питера, набивали цену, мужикам лафа:

— Лови - бери - подхватывай! — весело покрикивали они, моргая друг другу хитроумно.

Когда подкатила с превеликим гвалтом революция, хитроглазовцы не растерялись:

— Смотри, ребята, не подгадь.

— Это почище, чем в свои козыри. Живо в дураках останешься...

Тут выступил на деревяшке Васька-японец, газетчик, говорун:

— Вот что, братцы. Эти самые дела надо очень даже сполитично вести, а не зря. Ежели зря, так зря и будет. Надо, чтоб сполитично во всех статьях.

Везде „бедные комитеты" завелись, самые немилые, везде свара, прижимка, утесненье. У хитроглазовцев—мир да тишь. В бедный комитет ни одного голодранца не нашлось:

— Мы живем потому што справно. У нас работяги.

Разрешили им выбрать в комитет, кого хотят. Власть на местах сделала такой строгий постанов: хлеб, крупу, масло и всякую другую всячину, кроме картошки с хреном, чтоб из деревни вывозить—ни-ни.

Все прочие ворчком-ворчком, да покорились, хитроглазовцы же в щеть пошли. Да как же! Ежели по тихости масло продавать, из-под полы, много ли распродашь. Если маклаку какому оптом — страшновато: живо под ноготь угодишь. А масло у них главная статья. Как быть?

Васька-японец одно твердит:

— Надо сполитично.

— Это самое... Да как? Разжуй ты нам,—с упованием уставилась в корявое лицо Васьки сотня недоуменных глаз.

— Очень просто, — подбоченился японец и бодро приударил деревяшкой в пол.—Я им такой агитпросвет в глаза пущу, зачихают... Ежели параграф не поможет—резолюцией. Ежели и она слаба—контрибуцией. Эка невидаль.

Мужики поощрительно смеялись, хвалили Ваську, называли полным грамотеем, золотой башкой.

И вскоре отправили в город комиссию из трех, коноводом—Васька.

Упродком помещался в доме протопопа. Как же, знакомый дом. Бывало, доставляли сюда хитроглазовцы творог, масло, молоко. Теперь же протопопа распротопопили за какие-то продерзости, что-то не так сказал, кадилом что-ли махнул не по-новому, теперь, после творогов да масла, коркохлебился он где-то в церковной сторожке из милости.

Комиссия вступала в этот дом, как в собственное волостное управление: ни ковров, ни цветов, ни капареек, грязь

одна, плевки. Да и люди все свои, свой же брат савоська. Эти не обидят. Не-е-т...Начальство-то.

Васька стучал деревяшкой вызывающе, и те трое топали изрядно.

— Вот, товарищ,—начал сипло Васька, обращаясь к председателю,—честь имеем об'явиться по случаю экстренности. То-есть об'ясню весь факт.

Взял, да все, как по пальцам, и выложил.

— Верно ли, мужики?

— Вернее верного, — в голос ответили те на вопрос японца.

Председатель, безусый, вихрастенький такой, перелистывая нужные бумаги, резко оборвал:

— Нельзя.

— То-есть в каких смыслах нельзя?

— Нельзя. Постановленье.

— Мало-ль бы чего. Постановленье... — тревожно скрипнула деревяшка Васьки.—Постановленье для прочих... Уезд велик. А мы-то по какому полному праву страдать должны?

— Закон один для всех. Из уезда масло вывозить нельзя. В ваших же интересах. Сыты будете.

— Много благодарны,—упавшим голосом ответил Васька и растерянно взглянул на вспотевших мужиков. Но деревянная нога его вдруг неожиданно скрипнула по-озорному.

— Ну, ладно. Допустим так,—сказал он.—А ежели я другую позицию подпущу. Ты масло в своих интересах, товарищ, ешь? Отлично хорошо,—японец обкукултыхал правый конец стола и прямо к уху председателя—ну, шептать.

Тот весь вспыхнул, откачнулся:

— Что?! Я тебя, товарищ, сейчас арестую. Что за безобразие!

Васька отскочил:

— Извините... Прошибся.

Он огляделся: вся комната набита бородами, лаптями, полушубками. И с горечью добавил про себя:

— Вполне дурак.

Переглянулись, вздохнули, уступили очередь, покарабкался вон.

Но Васька вскоре овладел собой:

— Мы к нему на фатеру. Он в бывшем доме живет. С бальзаминчиком такой дом-то... Помещицы. Про-о-ймем! Не может быть.

После вторичных разговоров с председателем мужики возвращались домой угрюмы, злы. Только японец был весел. Он за полтора фунта масла выменял у маляра порядочную стклянку лак-шерлаку и так налакировался, что всю дорогу, лежа поперек телеги, орал благим матом песни.

— Подгадил на этот раз. Эх, Василий Петров...—корили его мужики.

— Кто, я подгадил? Ни в каком разе. Масло, гыть, из села выпускать нельзя. Хы! Ладно. Так и будет. Я так оборочу вопрос факта. что и волки будут целы. и овцы сыты.

— Вот до чего... Даже пословицу превозносить не можешь. Шиворот на выворот.

— За милую душу... Вот ужо. Так превознесу, что ахнешь.

Дорогой потерял Васька шапку.

Ведерный самовар пускал пары. Жирнущие щи из баранины пахли смачно. Толстые ломти ржаной ковриги лезли друг на друга. Пенки в топленом молоке были румяны, поджаристы.

Мужики сидели на скамейке в стороне, благопристойно вздыхали, потягивая доморощенный тютюн.

Только Васька, сам большой, сам маленький, сидел возле самовара, чествуя двух питерских маклаков, братьев Фуфайкиных.

Большйе, крутолобые, с козлиными желтенькими бороденками, оба на одно лицо, братья были в одних жилетках, прожорливо чавкали, торопясь набить деревенской снедью столичные пустые животы.

— Кушайте во вславу, кушайте. У нас по-просту, без лицеморий. Не как в городу,— радушествовал Васька.

Гости кушали. Когда старшой оглушительно рыгнул и отвалился от баранины, хозяин услужливо придвинул ему чай:

— Наливайте больше молока-то... Пенку-то. Пожалте... У нас этого добра сколь хошь.

— А вот в Питере молоко-то вилкой хлебать приходится,— сказал младший. — Вот она жизнь-то какова там, — и вздохнул.

И вся скамья вздохнула.

— Да, да,—с притворным сокрушеньем тряхнул головой Нефед.—Такая чижолая жизнь кругом пропущена, что ужасти подобно. Слыхано-ли, видано-ли. А?...

— А нас еще хулят,—сказал старшой и положил на ломоть здоровенный кусок масла.— Дескать, спекулянты, мародеры. Стенкой стращают. А без нас подох бы Питер-то, вот что.

— Да как же можно! — вскричал японец.—Вы все-таки стараетесь.

— То один, то другой привезет,—подхватил Нефед,— глядишь, народишко и сыт, слава те Христу.

— Денно-нощно за вас Богу молить должны, а не то что к стенке. Милые вы наши... — душевно сказал Васька и прищуренные глаза его увлажнились.

Братья, отдуваясь, свирепо глотали чай. Серебряные цепи на их животах блестели, блестел кончик Васькина носа. Купеческий, разбавленный водою керосин чадил в настенной лампе. Было душно, как в берлоге. Табачный дым щипал глаза.

— Распорядки завели. Не смей свое собственное продавать. Хы! Странное дело,— продолжал японец, и его деревяшка описала под столом дугу.—А нам дакось наплевать на ихние распорядки-то... Закон, гыт, такой пропечатан. А кто пропечатывал-то, ежели спросить их в упор сознанья? Я те таких законов-то сколь хошь пропечатаю. Это не закон, а

озорство. Ишь ты, отряды везде по дорогам поставили, почитай, под каждым кустом. Да мы-то дураки, что ли? Неужто мы вот, скажем, хотя бы их,—указал Васька пальцем на братьев.—Они у нас, можно сказать, сколько кровных капиталов оставили, а мы их вот так под заградиловку и подведем?... Ха-ха! Держи карман шире. Да я их так проведу, с борзым кобелем ищи, следу не найдешь. Вот те и закон.

Васька крякнул и резко выколотил о деревяшку трубку.

— Уж не оставьте, крещеные. Мы уж будем в надежде... Бог велит, еще свидимся.

— Не сумлевайся!—закричала вся скамья.—Что мы, на сам-то деле... Не люди, что ли?!

— А вот как, наплюйте мне в рожу, ежели я вас на самый поезд не посажу,—азартно ударил японец в край стола.—Чик в чик! Так и вляпаю... Не-е-т!—крикнул он и, повернувшись, погрозил пальцем куда-то вверх и в сторону.—Еще мы с ними, с товарищами-то, потягаемся. Что бы мужика утеснять? Ишь ты! Все на учет, все общее. У нас, гыт, текст печати. На-ка, выкуси... Да мы им такую контакту загнем. чихать смешаются.

Братья улыбались, поддакивали, говорили:

— Слетят... Не долго им покуражиться-то. Эвота в Библии или в Откровении Иоанна Богослова...

И принялись пояснять от писания, принялись предсказывать все шестьсот шестьдесят шесть концов и сроков. Может, договорились бы Бог знает до чего, еслиб Васька, всхрапнув, не клюнул во сне носом.

— Спать пора,—сказал тогда старшой.

— Погодь чуток,—прохрипел Васька, протирая окутанные сном глаза.—Вот вы толковали, в Питере дохлых кляч едят с голодухи, а у вас на руках кольца. Я бы за каждое кольцо по барану дал. Идет?

— Ну, чтож. Согласны. А как отберут?

— Чего это!...—весь ощетинился Васька и так засверкал глазами. что братья успокоились.

Народ повалил во-свояси. Братья стали укладываться спать

Во дворе послышался шипящий окрик Васьки и скрип деревянной ноги его по свеже-выпавшей пороше:

— Эй, стойте-ка!

Мужики остановились. Васька хихикнул и боднул головой:

— Понимаете вы, али нет, какую я амбицию подвожу?

— Нет.

— Ну, стало быть, дураки, деревня-матушка,—заключил Васька.—Айда за мной.

Кой-где в избах мутно желтели огоньки. Через дорогу промчался черный кот, за ним собака. Брякая в заслонку косарем, прошла девка.

— Караулишь?—спросил японец.—Братейник-то не спит?

— Нет.

— Айда к нему. Он парень грамотей, шустрый.

И все повернули за японцем в проулок.

Петруха Зуев был секретарем в бедном комитете. Чадила березовая лучина в светце. Сам он сидел под образами, крутил из отрывного календаря козью ножку и выворачивал скулы сладким позевком. Покрестились мужики, поздоровались, присели:

— Вот что, Петрован,—сразу к делу Васька.—Завтра утречком живой ногой в город к председателю Ахрамееву товарищу. Восемь верст, живо добежишь. Вот у нас тут лепортичка сготовлена. В своные собственные руки. Понял? От всего, мол, общества. Приказали, мол, кланяться... Благодарим покорно.

— Это какая такая лепортичка? Мы и не слыхали.—удивились мужичьи голоса.

— А пошто вам слышать? Впрочем сказать—могу прочесть.

Васька вынул из шапки исписанную крупным почерком бумагу, подошел к светцу и стал читать.

Мужики захохотали.

— Ловко?—захлебнувшись смехом спросил Васька.

— Ну и чо-о-орт!

— Согласны?

— А как влетит?

— Как влетит, так и вылетит,—облизал японец сухие свои губы.—Петруха, печать при тебе?

— Здесь. Вот только помакнуть некуда. Мази-то этой самой... как ее... В комитете...

— Шут с ей...Сажа в трубе есть? Давай сюда.

Васька подкултыхал к печке, лизнул печать, да в сажу.

— Форменно. Теперича крепко. На. Сарай-то знаешь, в логу-то? Так и упреди.

Мужики смеялись, крутили носами. Васька сиял.

— Ежели товарищи утеснять нас не станут, мы завсегда им уваженье сделаем. В полном смысле веществ...—бубнил он веселой ватаге мужиков, шлепавших по сонной улице.

На другой день, когда сизые сумерки с'едали последний след заката, путники усердно помолились Богу и пошли.

Прогоном, крадучись на деревенские зады, а там—по заовинью вон, чрез кусты, чрез поля, по нетоптанному снегу.

Братья кряхтели под тяжелой ношей, Васька тащил барана и четверть молока.

— Ну, слава те Христу, одну заградиловку прошли. А вот там у ворот другая. Да мы обойдем ее,—говорил он.—Нам только бы до того леску добраться, а там фють! как дома. Им, паршивцам, только попади. С зубов кожу сдерут. Вот они какие, товарищи-то эти самые.

— Хороший ты человек,—душевно сказал старшой.

— Я ничего человек. Я—хорош,—самодовольно ответил Васька.

Он вдруг схватился за сердце и застонал.

— Ты что?—посунулись к нему братья.

— Так, ничего.

Он потер снегом лоб и зашагал дальше. Лицо его подергивалось, грудь надсадно дышала.

Начался лесок. Путники шли без дороги. Сумерки сгущались. Ясным серпом стоял в небе месяц.

Васька вновь застонал и зашатался.

— Ой, сударики... Падучая у меня зачинается, кажись.. Вот раз-то. Как месяц на молоду—смерть мне. На службе спортили. Каптинармус... По злобе... ой!..

— А как же нам-то? Василий Петров! Мы-то как же? Скоро ведь должен поезд прибыть.

— Айда проворней на опушку, покамест не ляпнулся я. Растолкую вам.

Через минуту, хрипло дыша и поджимая живот, Васька указывал братьям:

— Вот тут ложок. А это дорога чернеет. Вы дорогой не ходите, как бы греха не вышло, а прямо. В логу сарай стоит, отсюда сотни полторы саженей, не больше. А от сарая чугунка тут и есть.

В груди у Васьки захрипело. Он раскинул руки и с визгливым стоном пал на спину. Его трясло и подкидывало, руки судорожно мотались, он весь извивался, взрывая до самой земли снег. В груди клокотал и булькал какой-то лающий хрип.

Братья заглянули в его страшно вытаращенные глаза, перекошенный рот, оба враз перекрестились:

— Прощай, голубчик, Василий Петров...Чего поделаешь... Лежи...Пройдет, наверно,—и поспешно двинулись в лог, к сараю.

Васька чуть приподнялся, как гусь вытянул шею и зорко посмотрел им в след. Еле приметные фигуры их скоро потонули в мгле. Васька не торопясь вынул кисет и закурил. Его глаза улыбались. Он насторожил уши приставленными к ним ладонями и напряженно ждал. Вдруг в логу глухо стукнул выстрел.

— Есть! Накрыли... Ха-ха!—радостно отрубил Васька. Пожалте, товарищи, к праздничку. Вот мы как для вас. Пуда три масла одного... А тех буржуев-то нам не жаль. Счастливо оставаться!

Васька помахал шапкой и, улыбаясь во все лицо, быстро закултыхал домой.

Вяч. Шишков.

1921 г.

ГРАВЮРЫ.

I.

ПОЭТ.

Фил написал уже двадцать семь сочинений, не считая дистихов и эпиграмм, а его все еще не признавали великим и упорно не давали никакой придворной должности. Он злился, негодовал и возмущался людской глупостью, которая не умеет быть справедливой. Кроме того, он проклинал судьбу, одновременно с ним возростившую Максима Плануда, который забрал себе всю писательскую славу, отпущенную на Византию. Фил пытался написать на него донос, но, изощренный в искусстве сочинять только хвалебные гимны и панегирики, остался недоволен своим двадцать восьмым произведением и разорвал его в клочки.

В такие минуты, т. е. когда внутри его клокотала ненависть, а на зов ее сбегались слова, бессильные дать ей исход, он вспоминал, что занимается еще агиографией, и начинал прославлять апостолов, пророков и святых, а особенно иконы. Эти бескорыстные гимны, исполненные пафоса, утверждали перед ним самим его поэтическое священнослужение, которое возвышало дух. И, так как ненависть—к счастью для поэзии—посещала его часто, он написал множество звучных гимнов, в которых огонь мелочной злобы, помимо его воли, превращался в молитву.

Но агиография, будучи весьма почтенной отраслью поэзии, нисколько не увеличивала его славы, ибо кому же неизвестно, что таковая создается людьми, имеющими власть и влияние.

Поэтому Фил, считая себя призванным к высокому назначению, отбросил в сторону святых и апостолов и устремил свой необузданный талант на дело прославления пинкернов, конопставлов, протостраторов, екклесиархов, синкелариев и других вельмож, с тайным намерением достучаться словесным стуком до их неприступных сердец. Это были эпиграммы, сложенные в виде акафистов и расцвеченные трижды крашеным пурпуром красноречия. На пергаменте они были начертаны киноварью.

И это помогло. Отправляя посольство в Тавроскифию, Базилевс Андроник, по напоминанию Великого Доместика, за день до того превознесенного в пышной оде поэта, подумал о Филе и приказал ему быть апокризиарием для столь важного дела, как заключение брака между ханом Золотой Орды и дочерью Автократора Востока.

Путь корабля лежал в Фасис. Дул легкий попутный ветер. Невдалеке задумчиво скользили зеленые и желтые паруса рыбачьих лодок. Вокруг корабля резвились и фыркали веселые дельфины, напоминавшие безмятежных детей. Было тихо и прекрасно. И поэт Фил, упоенный величавым морским простором, ощутил в себе нежный трепет спокойной мысли, которая сама для себя находила нужные слова.

Так, вдохновленный морским простором, он тут же на палубе сочинил поэтическое рассуждение о человеке, беседующем со своей душой. Закончив творение, он самодовольно улыбнулся и злостно высунул язык в сторону Девяти глав Святой Премудрости, где суетливо копошились те, перед которыми он еще недавно расточал пышные слова.

Его посольство было удачно, но в придворной суете тотчас же забыли о поэте. Он снова негодовал, возмущался и в тиши своего дома, прикрытого платанами, измышлял злые упреки и доносы, которые, однако, падали на пергамент в виде льстивых панегириков.

В это время от неведомого поветрия умерла его жена, оставив ему полный дом детей. Чистую скорбь по ней он испытывал четыре дня, а на пятый подумал о том, почему бы ему не воспользоваться удобным случаем, дабы напомнить о себе лишний раз и в совершенно иной форме. Его жалобное, смиренное и скорбное послание к императору, написанное шестистопным ямбом, вышло удачным. Оно звучало трогательно и прекрасно, особенно в той части, где поэт говорил о своем убожестве и называл себя безукоризненным рабом.

После торжественных гимнов, звучавших как пасхальные симандры, ему так понравился смиренный тон его новых произведений, что он решил изощряться в них ежедневно и ежедневно отправлял такое послание всем тем, кому он прежде подносил свои оды и получал за это золотой семисис.

Однажды он написал молодому деспоту Константину:

„Ты прекрасный господин, а я твоя собака. Я громко лаю, но это потому, что мне хочется мяса. Вседерзающий львенок, накорми собаку".

Львенку понравилось необычное обращение, и он приказал выдать голодному поэту целого быка. Вместе с тем великодушному деспоту захотелось узнать, как выглядит поэт, и он велел его позвать.

Фил явился немедленно.

Его далматика была туго стянута поясом. Он учтиво поклонился и сказал:

— Подобно скифам, которые от голода стягивают живот широким поясом, я поступаю так же. Об этом писал еще Ересистрат. Я же видел это своими глазами.

Деспот посмотрел на его мохнатую бородавку у носа и с омерзением спросил:

— Неужели ты голодаешь, несчастный?

— О, человеколюбец! — плаксиво воскликнул Фил. — Судьба более милостива к творениям, нежели к их творцам: в то время как свитки с моими стихами пребывают в золотых шкатулках, я пребываю в нищете и забвении. И, видя

меня нагого, неужели ты, золотой благодетель, не уделишь частички одежды для моего зябкого тела. Блуждая мыслями в небесах, я не умею думать о земном.

Деспот, утомленный его плаксивостью, приказал выдать ему шерстяной материи и заметил окружающим:

— Он мне противен. Неужели таковы все поэты?

Фил же, радостно принимая дар, думал:

— Древний софист Зиновий утверждал, что фиссагеты, приносившие в жертву богам кости, сами с'едали мясо. Это было неглупо с их стороны. Боги же, приемлющие столь дешевую жертву, глупы несомненно.

Так он жил, унижаясь и попрошайничая, ученнейший поэт, ритор, агиограф, связанный родством с славным и знатным родом Мелиссинов, и прожил долго. После внезапной смерти его от несварения желудка, в шкатулке с рукописями и золотыми солидами был найден написанный его рукою анонимный донос на Анему, императорского зятя. Почитая поэзию и будучи покровителем Фила, Анем[illegible] без всякой огласки уничтожил неизданное произведение поэта и, вознося псалмы смерти перед осьмиглавым Крестом, горячо молил Иисуса и Приснодеву отпустить почившему все его грехи.

По его же настоянию симандры близлежащих храмов в день похорон гулко изливали неподдельную печаль.

II.

ДИОНИСЬЕВА ИКОНА.

Писал игумен грозное послание заволжским старцам, изливая на них строгие словеса за еретицкую нерадивость ко Христу, а сам крепко думал о княже Федоре Борисовиче. Туто же он в Волоке Ламском жил и удел свой имел, а благодать духоносная мимо него шла.

Скорбя душою, пылал гневом на него игумен: пошто скачет и рзает, уподобляся жеребцу? пошто бесовскую славу творит, позорища, играния собирает и в двор свой к жене скомрахи и сквернословцы приводит? какой прибыток ему есть над птицами дни изнуряти? какая ему нужа есть псов множество имети? пошто скудную церковную казну в монастырех Возмицком и Селижарском поотымал, а ныне до Волоколамской обители богопротивно добирается?

Весь день читал игумен Триодь постную и Толкование Златоуста, а в душе не кротость плавала, но лютость кипела.

Не держал князя во чти, ибо не христолюбец был, такой же, как и родитель его Борис, умовредный осударь, не по Бозе ходяща, душу свою граблением монастырей на веки погубивший.

И чтобы гневное кипение излить, стал письмо против жидовствующих писать, кои главизны божественного писания кривосказуют и звездозаконию учат. Особливо же против злобесного волка Зосимы, коий иконы, треклятый, почитает болванами.

И когда ввечеру колкое слово придумывал, чтобы пребольно заволжских старцев уязвить, пришел старый чернец, поутру в княжий двор посланный,—в рубище изодранном, босый и в лице белый.

— Увы мне!—сказал чернец, низко кланяясь.—Уж лучше бы, святый отец, быть мне твоим жезлом на смерть убиту, нежели от богомерзкого князя-заики безвинное мучительство приять. Приказал он своим холопам бить меня батогами.

Встрепетнулся игумен: благочестивейшего старца батогами бить!

— Како аз сказал ему, богопротивному, чтобы должные нам ста рублев вернул, так и распалился.

— Может, со сна встал?

— Не со сна, но от бесчинства. Егда аз пришед, бесовское позорище творилось, а ему вслед тучная трапеза началась. По сию пору пианство идет и сквернословие совершается.

Сам же князь стыдкие мирские словеса глаголет и бабской мухояровой телогреей покрывается.

— А писания божественные укорял? — хмуро спросил игумен.

— Того не было, святый отец, но о вере любопрение творилось.

Отложил в сторону перо свое игумен и поник с воздыханием: втуне и всуе были его наставления. Как был книжа, яко аспид глухий, затыкающий уши свои, так и остался. Не желал блюсти законы священные, уставы апостольские, ни правила седьмистолпные. Не восхотел духоносных мужей слушати, но одно только на уме у него—сластолюбие да веселие, латынска мудрствуя, и от монастырей стяжание.

Приказал игумен черпецу прочь идти, а сам в келии тихой погрузился в помыслы разные: не бить ли челом государю великому князю Василию Ивановичу всеа Русии, чтобы он смиловался и, Бога ради, взял в свою державу монастырь Пречистыя. Не волочиться же ему и братии по чюжим монастырем: ни силы нет для того, ни имения.

Так и содеял. Написал печаловное послание великому князю, да еще туда же в Москву Симону митрополиту. Что Бог даст!

* * *

Того ради брань великая на монастырь и воздвиглась. Почалось насильство удельное и пря словесная, изошедшая от завистного злоглагольника архимандрита Возмицкого Алексия: возревновал он славе монастыря Волоцкого и стал умовредного князя Федора подговаривати игумена с братией изгнать, а рухлядь монастырскую в Возмище перенести.

Перекинулась неизреченная пря из стольного города в первопрестольный, от епископов к архиепископам. А игумен тем временем неблагословенную грамоту получил: мол, великое бесчиние содеял,—в державу отошел без благословения своего владыки Новгородского. Перепуталась пря зелным клеветанием, ябедою, изветом и неправдою, понеже не дошла

до суда великокняжеского и святительского: инако судится прост человек, инако священник.

Полагали одни:

— Волен князь Федор в своем монастыре: хочет жалует, хочет—грабит.

Другие же судили инако:

— Никогда того не бывало в нашей рустей земле, чтобы церкви божии и монастыри грабити.

Долго сварились, а в конец вторые перьвых богонаученным коварством посрамили и в темницу их ввергли. Святители же, князю Федору согласники, у великого князя остались в немилости.

От долгой брани истощились силы у игумена и посетил его Господь немощию да и ветх был деньми. Уже полтретья года на одре лежал.

И поразмыслил тако:

— Уж есмь ближайший ко гробу телом. На всяк час смерти чаю. Потороплюсь у князя прощаться. Егда строгостью не смутил его, покушусь добротою.

И призвав к себе келаря Феофана, нарочитого иконника, приказал ему лучшую из икон принести, грецкого письма или какого иного, чтобы мздою князя уласкать.

— Не Дионисьева ль письма, прикажешь, господине? — спросил келарь.

— Дионисьева?—повторил игумен и сам смутился: перьвейший изограф был монах Дионисий, в живописцех преизящный; на Кубенском озере жил, и благодать Божия кистью его водила, духоносные образа писал и, глядя на них, каждый чистую радость познавал.—Неужли отдать сквернословцу и еретикам согласнику?

Пожевал старыми сухими и синими губами, покряхтел и поборол досаду:

— Отнести икону князю Федору без мотчания. К ней послание мое приложити.

Взял перо в руки и, прежде нежели хромой келарь из келии выйти успел, скоропоспешно написал:

„Не лепо нам, княже, враждовати друг на друга. Суетное то есть велемудрие, Господу неугодное. Да не будет в нас разори. Давай, господине, взыщем разума божественных писаний и помиримся, храняще заповедь Христову о человеколюбне. Покажем иным—ты княжа, я смиренный молебник—како надо соблюдати Закон Божий. В знаменье прощания посылаю тебе чюдную икону искусного письма, не по плотскому умыслу писанную. Благословил тебя родитель Волохой, Ржевой, Вышгородом и Шопковою слободою. Я же, худой и смиренный мних, благословляю тя иконою нарочитого письма".

* * *

Пил княжа Федор Борисович златоструйную романею и слушал смехотворную притчу от проезжего гречина-мимохода, льстивца и скомраха. Фрязское вино душу приводило в распаление и удаль гнало наружу: на-двое, сказывают, вино разлучается—умным на веселье, а безумным на погибель. Принесли князю сагадак золотой с яхонты, лук с налучьем и колчан, стрелами набивный. Стал княжа меткость показывать: куда хочет, туда и угодит. Рядом с ним отрок Митя стоял, лицом белый, губам алый, весь нежный—ни дать, ни взять царевна Милонега из баснословья.

А княгиня Марья, давно уже князю постылая, из оконца теремчатого посматривала и, тафтой Венецыйской прикрываясь, не на мужнее удальство любовалась, но зорко следила: правду-ли мамка говорит ей каждодневно — злейше девок блудливых отрочата голоусые суть.

Тем часом келарь да большой подчашник, да четырнадесять черньцов чюдную икону принесли. Прочитали князю послание игумена, а потом икону показали, покровы с нее снявши.

Воззрился князь и много преудивлен был. Дивный лик Пречистой мудрым живописцем преизящно был изображен. В лазоре глава ее плавала и уста улыбались нежно. Мнилось, быдто шептание изрекают. Не взмог князь взора своего от иконы отвести и сам отнес ее к себе в хоромы, под ноги

не глядя, но в образ очами прикованный: возгорелось сердце его огнем и восхитихся безмерно. С собою только отрока Митю позвал и, указав перстом на образ, сказал с волнением душевным:

— Смотри, Митюк, с тобой схожа. Как и ты нежна, кругло-лица с красными ланитами. Скуден умом игумен: не по плотскому умыслу писанная, говорит. Чего более плотского! Хоть возьми и целуй.

И привлекши к себе отрока, ласково погладил его и поцеловал в уста алые.

Княгиня Марья, в щель глядевшая, слезами оросилась и подумала:

— Прости меня, святый Боже, но голоусому жеребенку лютого зелья дам, икону-же, в срамный соблазн совращающу, изничтожу в конец.

Так и было. Оттого про чюдную икону Дионисьева нарочитого письма никому более не ведомо было. Сгинула безвестно.

В. Ирецкий.

БАЛЬТАЗАР ПУЛЬ.

В тот день — каким необычайным казался он потом! — кавалер Бертран д'Отрэв проснулся в дурном расположении духа. Приняв ледяной душ и усевшись в глубокое кресло у окна, он раскрыл Илиаду. Но взгляд его рассеянно скользил по строкам, а мысль дремала; знакомые стихи почему-то не давали привычного наслаждения. Он посмотрел на небо и слегка искривил губы: его бездонная глубина производила на него раздражающее впечатление. Чей-то негромкий, очень музыкальный свист привлек его внимание. Он встал и подошел к окну. Прежде всего он увидал громадную ньюфаундлендскую собаку, стрелой мчавшуюся по улице, а потом, у дверей отеля д'Амблевилей, молодого человека в роскошном камзоле и украшенной перьями треуголке, очевидно, ее хозяина. Собака легла у его ног. Улыбаясь, он правой рукой снял треуголку, а левую положил на голову собаки, и так простоял несколько мгновений, не двигаясь.

Он был очень хорош собой. Тщательно завитые белокурые волосы отливали бледным золотом, золотой тоже, но темный и яркий огонь его глаз невольно приковывал внимание, розоватые щеки были нежны, как у девушки, пунцовые губы изгибались капризно и страстно, стан был тонок и строен, руки сверкали драгоценными перстнями; всякая женщина с удовольствием остановила бы на нем взгляд. Но между кавалером Бертраном д'Отрэв и женщинами было мало общего.

— Парис! прошептал он.

В тот же миг палка, на которую он опирался, выскользнула у него из рук и с шумом покатилась по паркету. Прихрамы-

вая, он поднял ее, и, повинуясь какой-то тайной прихоти, снова подошел к окну. Скучающе-брезгливый взор его встретился с блестящим взором незнакомца.

Кавалер Бертран д'Отрэв был очень некрасив. Четыреугольная, преждевременно облысевшая голова его тяжело упиралась в широкие, приподнятые плечи, крючковатый нос явно стремился к подбородку, тонкие, сухие губы беспокойно кривились меж двух глубоких продольных морщин, глаз почти и вовсе не было видно, что-то смотрело всегда упорно и недоброжелательно, но что именно, этого в точности не знал никто, отчасти, как выше было указано, по причинам чисто внешним, отчасти же потому, что невидимый взгляд кавалера д'Отрэв приводил в смущение его собеседников.

Незнакомец, однако, не опустил перед ним своих золотых глаз.

— Гаспар!—громко позвал кавалер д'Отрэв, отворачиваясь.

Маленький, тощий секретарь тотчас же откликнулся на его зов. Кавалер д'Отрэв ткнул пальцем по направлению к окну:

— Гаспар, кто этот человек?

— Виконт Бертран д'Амблевиль, сударь. Он только-что вернулся из путешествия.

Кавалер д'Отрэв пожал плечами и сделал жест, означавший, чтобы ему подали шляпу. Когда он вышел, виконт д'Амблевиль все еще стоял у дверей своего отеля. Прихрамывая, кавалер д'Отрэв прошел мимо его. Виконт, улыбаясь, смотрел ему вслед.

„Терсит!" сказал он довольно громко и вдруг протяжно свистнул. Тотчас же из дверей отеля вышел статный слуга в бледно-голубой ливрее и принял из рук его тихонько ворчащего пса.

— Кто это?—спросил виконт, указывая хлыстом в сторону удалявшегося кавалера.

— Кавалер Бертран д'Отрэв, сударь.

Виконт пожал плечами и вошел в дом.

Вечером того же дня они встретились снова в салоне госпожи де Монтессон. Поцеловав руку хозяйки дома, виконт прислушался к довольно оживленному разговору троих мужчин, окружавших ее: речь шла о скандальных выборах графа Мирабо.

— Он должен был пройти,—сказал виконт,—но я рад, что он прошел не от дворянства. Я видел его: у него экстравагантная мимика.

Все засмеялись. Не догадываясь о причинах этого смеха, виконт почувствовал сильную досаду и уже сдвинул брови, как вдруг госпожа де Монтессон перестала смеяться и слегка потянула его за рукав.

— Милый виконт,—сказала она,—не сердитесь на нас: нам стало весело потому, что господин д'Отрэв только что высказал о графе Мирабо то же мнение, что и вы. Но, Боже мой, ведь вы еще незнакомы! Кавалер д'Отрэв! Виконт д'Амблевиль!

И, как бы для того, чтобы виконт и кавалер не вздумали ограничиться холодным поклоном, госпожа де-Монтессон тотчас же отвернулась от них и склонилась над тоненькой тетрадкой стихов; она читала вполголоса стихи и розовым пальчиком указывала на те места, которые ей особенно нравились; гости, только что высказывавшие суждения о графе Мирабо, заговорили о стансах и эклогах.

Виконт и кавалер молча смотрели друг на друга.

„Терсит", мысленно проговорил виконт и улыбнулся, тоже мысленно; лицо его было приветливо и открыто, как всегда, и в золотых глазах его, как всегда, прыгали живые и нетерпеливые искорки. Он думал о том, что кавалер похож на Терсита и совсем не понимал, почему на душе у него с каждой минутой становится все легче и веселее.

„Парис", думал кавалер, жалея, что приличия не позволяют тотчас-же подкрепить эту мысль саркастической усмешкой. И в то же время он чувствовал какое-то странное, непонятное и очень радостное волнение, приблизительно такое же, какое он испытал в тот, уже далекий день, когда он впервые

нашел отзвук своих дум в бессмертных творениях фернейского отшельника.

Однако, молчать долго не пришлось.

Виконт д'Амблевиль заговорил первым:—Любезный кавалер, поверьте, я благодарен случаю, столкнувшему меня с человеком столь изощренного ума.

Промолвив эти слова, он улыбнулся.

— Я тоже благодарен ему, виконт,—ответил кавалер, усмехаясь.

Они сказали еще несколько слов о Мирабо и присоединились к кружку, образовавшемуся вокруг хозяйки дома. Виконт нашел стихи изящными, но недостаточно закругленными. Кавалер, собиравшийся сказать то же самое, сердито вскинул на него глаза. За ужином они сидели рядом и разговаривали, после ужина, незаметно для самих себя, очутились за шахматным столиком и сыграли две партии в шахматы, а потом одновременно распрощались с госпожею де Монтессон и вместе пошли домой.

— Знаете, любезный виконт,—сказал кавалер д'Отрэв, хмурясь и теснее запахивая свой узкий плащ,—знаете, виконт, сегодня изумительно хорошая погода".

— Да, кавалер,—ответил виконт мягко и, спустя несколько мгновений, прибавил: „Какие звезды! Какие звезды!"

Погода была серая и звезды горели тускло. Но Бертран д'Отрэв и Бертран д'Амблевиль стали с этого дня неразлучными друзьями.

Между ними было мало общего. Вкусы, привычки, манера одеваться и манера чувствовать—все было различно. Кавалер д'Отрэв любил херес, платье голландского покроя, крепкий табак и одиночество; виконт д'Амблевиль—шампанское, цветной шелк и общество дам. Один был мрачен и слегка торжественен, другой—весел и крайне легкомысленен; один обо всем грустил, другой всему радовался. Никто не понимал, почему они дружны. Но ведь дружба, как и любовь, часто бывает непонятной.

Они виделись по несколько раз в день. Проснувшись, кавалер терпеливо ждал, когда распахнутся в противоположных окнах зеленые портьеры; виконт старался встать пораньше. Они гуляли вместе, потом обедали; после обеда виконт уходил к своей возлюбленной, а кавалер садился за письменный стол (он писал мемуары); вечера они большею частью проводили в гостях и возвращались домой пешком, беседуя о впечатлениях дня и главным образом о своих мыслях.

В качестве светских людей и любителей философии они думали приблизительно обо всем. Но особенно занимала их политика, предстоящие выборы в генеральные штаты, революция, которую они предчувствовали и которая казалась им безконечно далекой. Доказывая ее неизбежность, они с облегчением твердили: „это будет нескоро!“ Спокойствие было им дороже всего на свете. Но они с удовольствием думали о революции, потому что были высокого мнения о себе и считали, что в то время, как другие представляют ее себе ошибочно, они знают заранее о ней все.

Им мерещились залитые кровью эшафоты, пики с человеческими головами, шумное и бессмысленное бешенство толпы, бурные собрания, речи отрывистые, сбивчивые, уродливые, наполовину из слов, наполовину из жестов и слова пустые, и жесты нелепые. Безобразие грядущего вызывало в них ощущение тошноты.

— Это будет нескоро, любезный виконт!..

— Галантность уцелеет—говорил виконт, щуря свои красивые глаза,—галантность уцелеет, но...

Он набрасывал картину оргий, в которых потоки вина смешаются с потоками крови и уличные женщины повторят восхитительные позы маленьких маркиз—тяжелую, грубую пародию на изящнейшее.

— Ум уцелеет тоже...—задумчиво вторил ему д'Отрэв,—но какой ум!

Он представлял себе людей с хриплым голосом, с искаженными от страсти лицами: подобно ему, эти люди ловко играли мыслями, но он с ужасом всматривался в эту игру и

бледнел, как искусный, но благочестивый жонглер бледнел бы при виде дьявольских фокусов. Чудовищная игра! Знакомые идеи сплетутся безобразными кольцами, закон гармонии будет нарушен, чувство меры притупится, ясные речи смолкнут, тонкая усмешка замрет на устах,— о, если бы безмолвие! Но, нет! Ужасный, безумный бред послышится тогда, и в безумном бреду прозвучит все, о чем мы говорим теперь так спокойно, а когда, сделав усилие над собою, мы возвысим голос, на тех рожах появится искривленный оскал и мы отшатнемся, потому что узреем в нем наши улыбки.

— Кавалер, это будет нескоро!

Громадный пес виконта громко лаял; шаля, он делал вид, что собственная тень кажется ему каким-то страшным зверем. Кавалер стучал палкой о мостовую:

— Тубо, Плутон, тубо!

Дни были так похожи один на другой.

Но любящим каждый день приносит что-нибудь новое. Дружба виконта и кавалера становилась все теснее.

Сначала они говорили о ней шутливо и легко, как говорили вообще о всяком чувстве, но мало-по-малу тон их изменился. Подавляя смущение и втайне радуясь ему, они поверяли друг другу то, что лишь с трудом поддается обыкновенным выражениям. И хотя язык любви довольно скуден, им казалось, что слова, которыми они обмениваются, свежее весенних роз.

Однажды, после обеда, виконт был задумчивее обыкновенного.

Он опустил голову и молча перебирал бахрому скатерти в то время, как кавалер, охваченный беспокойством, из деликатности перелистывал только что вышедшую брошюру. Виконт посмотрел на него. Кавалер поднял голову.

— Знаете,— сказал виконт слегка дрожащим голосом,— знаете, кавалер, мне больше не хочется итти туда".

„Туда" значило—к ней.

Кавалер д'Отрэв отвернулся. Виконт подошел к окну. Они долго молчали. Безграничная радость томила их. Наконец, кавалер тронул виконта за руку.

— Я тоже,—пробормотал он—то-есть, нет... одним словом, мне надоело заниматься мемуарами.

Он часто заморгал глазами. Не владея больше собой, виконт д'Амблевиль громко разрыдался. Смеясь и плача, они (в первый и последний раз за их знакомство) поцеловались.

И вдруг—революция. Вдруг и в то же время постепенно, она подкрадывалась с грозной медлительностью опытного хищника. Кавалер д'Отрэв и виконт д'Амблевиль едва заметили ее сначала. Рев победителей открыл им глаза. И они увидели все, что еще недавно существовало только в их воображении: и головы на пиках, и тесные полчища толпы, и вождей ее; лилось вино, лилась кровь; в грязи, перед уличными женщинами, склоняли колена безвестные еще вчера молодые люди, и всюду было то отвратительное, звериное, чуждое, что казалось им страшнее смерти и мук, — всюду торжествовала страсть. Только трупы повешенных на фонарях аристократов были попрежнему спокойны.

Кавалер и виконт не испытывали страха. Вдвоем, без оружия, они в обычные часы совершали прогулки, в обычные часы обедали и в обычные часы ложились спать. Но счастью их настал конец. Омерзение к окружающему с каждым часом становилось невыносимее. Кавалер д'Отрэв часто поговаривал о том, что лучше всего было бы покинуть Францию и где-нибудь на берегах Рейна ожидать возвращения прежних дней. Виконт полагал, что уезжать не стоит; он думал, что прежние дни скоро вернутся.

Кавалер подозревал его в любопытстве:—Неужели вам интересно смотреть на это?

И он указал взглядом на человека в фригийском колпаке, с лицом, обезображенным оспой. Оспа незадолго перед тем свирепствовала во Франции и многих отметила своим клеймом; особенно пострадали люди третьего сословия.

— На это?—переспросил виконт.—О нет, друг мой, нет! Мне жаль только тех мест, где я в течение стольких лет разговаривал с вами.

Кавалеру было тоже жаль их. Они шли дальше. А „это“—якобинец с изрытым беложелтыми пятнами лицом хмуро смотрел им вслед.

И все-таки они решили уехать. Это случилось через четыре года после начала революции, приблизительно в то время, когда Барер об'явил с трибуны Комитета Общественного Спасения, что все дворяне—изменники в зародыше и потому подлежат уничтожению. Эта фраза, затерявшаяся среди многих других фраз, почему-то переполнила чашу их терпения. Эшафот—пожалуйста, фонарь—они пожимали плечами, гильотина—пусть, но *уничтожение*... Этого они не могли вынести. К тому же республика об'явила их отели государственным достоянием. Им приходилось выбирать между эмиграцией и тюрьмой. Они выбрали эмиграцию. Пьер, бывший лакей виконта, помог им. Он покинул своего господина в самом начале революции, но узнав, что ему приходится туго, не только приютил у себя его и кавалера, но и познакомил их с теми людьми, которые могли помочь им бежать.

Накануне урочного дня виконт д'Амблевиль и кавалер д'Отрэв молча смотрели из окна темной мансарды на засыпающий город. Он был тих и как будто спокоен. Огни постепенно угасали. Дневной шум сменялся неясным и умиротворяющим, как колыбельная песня, гулом: изредка только, да и то глухо и словно бережно, одиноко громыхали кареты.

— Мы завтра будем свободны!—сказал виконт. Кавалер безмолвно пожал ему руку.

Свободны! Эта мысль вызвала у них легкое сердцебиение. Свобода! О, не та, не та! Не свобода, равенство и братство, не глупые полосы нового трехцветного флага, а другая, милая, человеческая, кем-то извека подаренная. Кем?

— Боже мой!—прошептал кавалер д'Отрэв.—Боже мой, как хорошо!

Да, было хорошо.

Проводник, высокий худой человек в карманьоле, наотрез отказался взять с собой двоих сразу. Первым уехал кавалер. Виконт должен был последовать за ним в ближайшие дни и разыскать его в Кобленце.

Сначала виконта мучило страстное нетерпение. Он не мог ни о чем думать: ему хотелось одного—скорее быть с другом. Когда Пьер сказал ему, что, вследствие усилившегося полицейского надзора, придется подождать с бегством, он впал в отчаянье и целые сутки пролежал в постели, едва сдерживая слезы; потом, бледный, растерянный, больной стал бесцельно слоняться по мансарде. Так прошла неделя. Наконец, природная живость виконта одержала верх над горем. В один прекрасный день он со стыдом признался себе, что ему невыносимо скучно.

А день был действительно прекрасен. Опаловое небо нежно пламенело над Парижем, золотые осенние листья тихо кружились, холодноватый блеск солнца как-то остро веселил душу. Опустив голову, быстро, как будто прячась от кого-то, виконт накинул плащ, надел шляпу, взял в руки трость и вышел. Резкий и чистый воздух сразу освежил его. Он несколько раз вздохнул, потом выпрямился и пошел вперед. Последнее время он всегда ходил медленно, приноравливаясь к неровной походке хромающего кавалера. Теперь он шел быстро. Щеки его раскраснелись, глаза запылали; он не знал, куда направляет его судьба, и все-таки торопился навстречу ей, предчувствуя, как это случалось с ним в былые дни, приближение чего-то неизведанного и приятного.

И в самом деле—не успел он пройти несколько кварталов, как прелестная женская головка, появившаяся в одном из окон, приковала его внимание. Он прошел мимо, обернулся, незнакомка, улыбаясь, смотрела на него, сделал несколько шагов назад, остановился снова, маленькая ручка слегка поднялась и поманила его. Еще одно мгновенье—и он с замирающим сердцем поднимался по лестнице.

Через несколько часов виконт посвистывая вернулся домой. Плутон весело бежал за ним. Скуки—как не бывало.

На следующий день, в пять часов, он сидел за столиком недавно открывшегося кафэ и, ожидая свою вчерашнюю подругу, внимательно разглядывал лица своих соседей. Многие из них носили карманьолы и фригийские колпаки; он прикрылся «Другом Народа» и прислушался к тому, о чем они говорили.

Казни, Европа, конвент, аристократия... да, главным образом, они говорили об этом. Но виконт не чувствовал больше ни ужаса, ни отвращения. Тема их разговоров даже мало интересовала его.

«Как» для него было всегда неизмеримо важнее, чем «что». А они говорили знакомыми словами и, очевидно, думали знакомыми мыслями. В перемежку с событиями дня якобинцы сыпали остротами, передавали сплетни, цитировали стихи. Один из них встал и подошел к виконту. „Позвольте-ка мне газету, гражданин". — „Пожалуйста, гражданин", ответил виконт, улыбаясь.

Он впервые произносил это слово. Оно показалось ему вдруг необычайно забавным. В это время маленькая ручка в несовсем безукоризненной перчатке легла ему на плечо. То была его подруга.

При виде ее молодой человек, только что взявший газету у виконта, громко захлопал в ладоши:

— Диана, ты ли это?

Диана засмеялась, выпила стакан вина и, удобно расположившись на коленях виконта, стала болтать и с ним, и с его соседями одновременно. Разговор поневоле сделался общим. Виконт принял в нем живейшее участие. Ему казалось, что он играет роль в очень пикантной импровизированной комедии.

Между тем слуга подал листок-воззвание, призывавшее всех верных граждан к обороне революционного отечества. Такие воззвания выходили часто и потому не могли произ-

водить особенно сильного впечатления. Но молодые люди выпили довольно много вина: им хотелось щегольнуть красноречием. Они начали ораторствовать. „Скажи и ты что-нибудь“—шепнула Диана виконту.

Одно мгновенье он колебался. Ах, все равно! Как трудно бороться с искушением!

Он решительно не был в состоянии противостоять желанию хорошенькой женщины. Да и нежданное приключение слишком захватило его. Игра—так игра. Он встал.

— Дорогие братья!..

Как только он заговорил, в кафэ воцарилась тишина. Рассчитанно твердый голос, благородная осанка, золотой огонь его взора, все невольно приковывало внимание. Истасканное по парижским площадям красноречие как-будто укладывалось опять в изящные складки античной тоги. Фразы текли плавно, логично и торжественно. Сначала виконт говорил негромко и спокойно, потом приблизительно на трети своей речи слегка повысил голос и поднял правую руку, наконец, словно обуреваемый чувствами, с которыми не мог или не хотел совладать, откинул плащ, поднял голову и слушатели замерли... в этом лице, в этом голосе, в этих бурных и столь гармонических жестах было такое властное одушевление, что каждый из присутствовавших начал ощущать желание встать и итти туда, где раздавали оружие, которым предстояло наказать врагов республики.

Когда виконт кончил, все окружили его. Приветливо принимая поздравления, он смутно сравнивал эти шумные похвалы с тонкими и сдержанными одобрениями салонов. И, оттого-ли, что тщеславие заговорило в нем, или по другим причинам, сравнение было не в пользу последних.

То, что он принял сначала за игру, становилось мало-по-малу действительностью. Он крепко жал протянутые ему руки и улыбался все сердечнее.

— Кто ты, гражданин?

Вопрос застал его врасплох. Но мысль работала так живо, что он нисколько не смутился.

— Я виконт д'Амблевиль,—заявил он таким тоном, что все засмеялись. Когда смех утих, он сел на столик и, прихлебывая вино, стал сочинять вслух.

Он, конечно, не виконт д'Амблевиль, а молочный брат его. Сам виконт, этакий негодяй, недавно бежал за границу, воспользовавшись его паспортом и оставив ему собственный. И вот теперь негодяй строит козни против республики, а он, клерк Бальтазар Пуль, не знает, как выпутаться из неприятного положения.

Он показал свои бумаги. Бегло взглянув на них, молодой якобинец похлопал его по плечу.

— Не унывай, Бальтазар, мы сейчас устроим это.

И взяв его под руку, добавил:

— Пойдем.

Виконт попрощался с Дианой и новыми своими друзьями, сговорившись встретиться с ними вечером следующего дня. Луи-Жак (так звали молодого якобинца) исполнил свое обещание. Через два часа у виконта были все необходимые бумаги и особая рекомендация, подписанная несколькими членами якобинского клуба: она восторженно отзывалась о революционных талантах Бальтазара Пуль. Рука виконта дрожала в то время, как он читал ее. Луи-Жак, почувствовавший к нему с первого взгляда живейшую симпатию, сиял от восторга.

— Теперь ко мне, дорогой Бальтазар,—воскликнул он.— Клянусь священным именем отечества, ты далеко пойдешь!

Как во сне, виконт повиновался ему. Когда он наконец очнулся, была глубокая ночь. Луи-Жак, лежавший рядом с ним, тихонько похрапывал. «Какое приключение!—прошептал виконт.—Может быть я сплю?» Он протянул руку к ночнику, и, коснувшись пальцем огня, тотчас же отдернул ее. Бальтазар Пуль! Он громко рассмеялся. „Как удивится кавалер!" На миг тоска о друге вкралась ему в сердце. Но впечатления минувшего дня быстро разогнали ее. Бальтазар Пуль... Диана... Луи-Жак... Чуждые образы тесно обступили его. Он

чувствовал себя молодым, здоровым, веселым. И вдруг—все спуталось. Он крепко заснул.

— ...Народ празднует брачный союз свой с прекрасной богиней свободы. Разум держит венец над ними. О, Бальтазар, друг мой, тебе уготовано ложе на этом пиру.—„Друг мой?“ думал виконт, любезно наклоняя голову в знак благодарности. „Друг?“ А Луи-Жак продолжал: Подумай, Бальтазар, как пуста и игрушечна была до сих пор жизнь. Она развернулась теперь перед нами во всем своем трагическом величии: ах, клянусь, герои древности потрясают Олимп криками зависти, ибо герои наших дней...

„Какой вздор“, думал виконт, делая вид, что сочувствует словам Луи-Жака. Луи-Жак ударил кулаком по столу.

— К делу, дорогой Бальтазар! Иди за мною. „Бежать“. Эта мысль сверкнула в голове виконта и тотчас-же погасла. „Куда он поведет меня?“ спрашивал он себя с любопытством. Они подошли к двухэтажному дому, возле которого толпилась кучка солдат и якобинцев. Луи-Жак сказал несколько слов часовым и, взяв виконта под руку, стал подниматься по лестнице.

— Где мы?—спросил виконт.

— В пятом революционном комитете Парижской коммуны,—ответил Луи-Жак.—Но что с тобой, Бальтазар?— Виконт дрожал.

— Мне нездоровится,—прошептал он.

Ему вдруг пришло в голову, что Луи-Жак догадался обо всем и хочет арестовать его. Однако, опасения его были совершенно напрасны. Войдя в большую залу, Луи-Жак подошел к длинному столу, где сидели члены комитета, и стал разговаривать с ними. Он представил им виконта, как своего друга, талантливого оратора и пылкого патриота. Один из них, маленький, толстый человек с двойным подбородком, похожий на импрессарио провинциального театра, дружески взял его за пуговицу.

— Прекрасно, прекрасно, гражданин...

— Бальтазар Пуль — подсказал Луи-Жак—...гражданин Пуль. Мы сейчас послушаем тебя.

Народу в зале становилось все больше и больше. Импрессарио, оказавшийся вице-президентом революционного комитета, об'явил собрание открытым. Изящный молодой человек в адвокатской мантии взошел на ораторскую трибуну и произнес речь о подозрительных. Его сменил пожилой якобинец, он говорил о том же, запинаясь и хлопая кулаком по кафедре.

— Теперь твоя очередь, Бальтазар,—сказал Луи-Жак. Виконт, рассеянно смотревший по сторонам, побледнел. Но тотчас-же молоденький секретарь комитета громко воскликнул: „Бальтазар Пуль!" и Луи-Жак, ласково шепча: — Не волнуйся, не волнуйся, друг,—подтолкнул его к трибуне.

Тысячи глаз с ожиданием смотрели на него. Так-же, как накануне в кафе, он начал:

— Дорогие друзья...

Голос изменил ему. В это время Луи-Жак шептал направо и налево, что Бальтазар Пуль—восходящая звезда секции. Виконт выпил глоток воды и начал говорить.

И по мере того, как сплетались между собой периоды его речи, он воодушевлялся все более. Глядя на затихшую толпу, он безошибочно угадывал, какие именно слова он должен употребить, чтобы понравиться ей, он щедро сыпал ими.

— Мы уничтожим их!—крикнул он и вдруг, услышав самого себя, остановился. „Боже мой! Что я делаю?".

Ужас охватил его. Но невольная пауза произвела неожиданный эффект. Многие слушатели вскочили со своих мест и подошли к трибуне; он увидел взволнованные лица, услышал шопот восторга... Страсть толпы, казавшаяся ему прежде отвратительной, вдруг захватила его. Он блестяще кончил свою речь. И громкий рев, долгий, неразборчивый, бессвязный, был ему наградой. Он плохо сознавал, что было потом, и только тогда, когда толстый вице-президент поздравил его со званием члена революционного комитета, понял, что случилось нечто непоправимое.

Три месяца спустя перед дверьми пятого революционного комитета остановился бледный, очень некрасивый человек в разорванном платье. Он попросил, чтобы его пропустили к Бальтазару Пуль. Ему отказали. Он упорствовал.

— Скажите, что мое имя Бертран: он примет меня — повторял он. Он твердил это так настойчиво, что молоденький секретарь решил исполнить его просьбу.

Когда он вошел в кабинет членов комитета, Бальтазар Пуль рассказывал своим товарищам какую-то веселую историю. Все смеялись. Он же, небрежно подписывая кучку распоряжений об аресте подозрительных, улыбался своей обычной, обворожительной улыбкой и, казалось, был в отменно хорошем расположении духа. Секретарь выбрал удобную минуту и склонился перед ним:

Прости, гражданин Пуль, что я беспокою тебя. Какой-то человек странного вида, по имени Бертран, просит, чтобы ты его принял...

Бальтазар Пуль перестал улыбаться.

Кавалер д'Отрэв ждал своего друга в течение двух с половиною месяцев. Сначала он старался представить себе причины, по которым виконт задержался в Париже, потом, когда все правдоподобные сроки прошли, почувствовал смертельную тревогу. Забыв о пище, уделяя всего несколько часов в день тяжелому прерывистому сну, он большую часть времени проводил у ворот Кобленца, там, где далеко видна слегка опускающаяся вниз дорога. Отдаленный стук колес заставлял его напряженно прислушиваться. „Это он!"—думал кавалер, вглядываясь в окна проезжающей кареты. „Это он!"— шептал он, заметив нищего вдали. „Это он... Это он"... Но виконта не было Тогда он решил вернуться в Париж. Продав остатки своего имущества, он с опасностью для жизни проник в ненавистный город и, отыскав без труда Пьера, узнал от него все.

„Бежать!" В который раз уже мелькала эта мысль в голове легкомысленного виконта. Он посмотрел на своих товарищей.

Они продолжали разговаривать, как ни в чем не бывало. Он мог встать и уйти. В помещении комитета было два выхода: никто не мог помешать ему осуществить это намерение. Но виконт не мог сдвинуться с места.

„Как об'яснить ему?—думал он. „Ах, я все тот-же. Бальтазар Пуль... нет, он не поймет".

Ему было ясно, что понять того, что случилось с ним, нельзя, и он вдруг покраснел, впервые назвав настоящим словом то, что до сих пор ему угодно было называть приключением: „Измена! Предательство!"

Молоденький секретарь старался угадать его решение:

— Гражданин Пуль, я скажу этому человеку, что ты занят.

— Нет, нет!..

Виконт поднял голову и в глазах его появилось то решительное и гордое выражение, которое так нравилось толпе, рукоплескавшей его речам.

— Пусть он войдет, — сказал он твердо. Он чувствовал, что оправданий нет, что об'яснения излишни, что нечто роковое должно произойти сейчас, но вместе с тем он чувствовал, что жизнь била в нем ключем, что в самом сердце его звенела та соблазнительная, страшная, может быть безумная, но захватывающая песня, которой жив был в эти месяцы и годы опьяневший Париж.

Кавалер д'Отрэв вошел в комнату. Виконт встретил его взгляд и закрыл глаза.

Когда он открыл их снова, давно утраченное равновесие царило в его душе. Песня замолкла. Он высокомерно посмотрел на своих товарищей и нежно улыбнулся другу.

Едва глядя на него, с отвращением на лице, кавалер д'Отрэв медленно поднял пистолет и выстрелил. Бальтазар Пуль жалобно вскрикнул и тотчас же затих.

Преступник отказался отвечать на какие бы то ни было вопросы. На следующий день его гильотинировали.

Мария Левберг.

25 января 1921 г.

ЛИЛЮЛИ.

Иностранные книги доходят до нас с большим опозданием. В 1919 году была выпущена в свет новая пьеса Ромена Роллана „Лилюли", а о ней до сих пор даже не слыхали многие из тех, кто привык следить за новинками французской литературы. [1])

Вместе с Анатолем Франсом Роллан как бы имеет монополию на литературное представительство Франции за границей. И нельзя не признаться, что у него есть на это некоторое право. Быть может, размеры его таланта немного преувеличиваются слишком усердными поклонниками, русскими и немецкими; быть может, его имя будет забыто так же скоро, как забылись столь громкие некогда имена Золя и Додэ. Но в настоящее время к деятельности Роллана во всяком случае не мешает присматриваться, ибо в ней находит свое отражение одно из самых серьезных и сознательных течений в умственной жизни нынешней Франции.

Как известно, Роллан начал свое поприще в качестве музыкального критика: затем пытался создать народный театр героического стиля и написал, между прочим, превосходную пьесу „Волки", с сюжетом, заимствованным из истории войн Великой Революции. Затем составил жизнеописания знаменитых мужей Микель-Анджело, Бетховена и Толстого, намереваясь воссоздать жанр плутарховских биографий применительно к требованиям нашего времени; затем, многотомный „Жан-Кристоф" на долгие годы поглощает его внимание. Этому роману и обязан, главным образом, Роллан своей европейской славой. Тенденции, проводившиеся здесь, казались очень новы и смелы под пером французского писателя первого десятилетия XX века. Закоренелое германофобство французского общественного мнения нисколько не ослабело со

[1]) *Roman Rolland.* „Lilulì". Libr. Ollendorf. Paris, 1919 г., стр. 158.

времени войны 1870--71 г. г., а Роллан не только позволил себе избрать в герои романа типичного немца по крови, по воспитанию и по духу, но и противопоставил его, в качестве некоего идеала, своим соотечественникам. Это очень понравилось к востоку от Рейна, но в самой Франции было встречено как зловредная ересь. Уже в то время раздались впервые упреки, которые в таком изобилии посыпались на Роллана позднее, когда рухнула его великодушная мечта о прочном примирении двух передовых народов европейского континента.

Война 1914 года надолго рассорила писателя с его отечеством. Правда, Роллан не примкнул к весьма немногочисленным и весьма крайним французским интернационалистам. Его статьи, об'единенные впоследствии в сборнике „Над схваткой", на нашу русскую мерку производят впечатление большой умеренности и сдержанности. Но не так посмотрели на это во Франции. Шовинистическое бешенство требовало очередной жертвы. Роллан был вынужден покинуть родину и поселиться в Швейцарии. Все французские органы печати были для него закрыты. Его имя сделалось бранной, позорной кличкой, синонимом измены и предательства. Конечно, это было несправедливо и неумно. Но огромному большинству французов было не до справедливости в грозные 1914—1918 годы. Ведь для Франции обстоятельства сложились несколько иначе, чем для России. Россия рисковала своим международным, великодержавным значением и устойчивостью своего социально-политического строя. А для Франции дело шло о самом ее национальном бытии. Вековой непримиримый спор должен быть разрешен раз навсегда, и потому легко если не оправдать, то хоть понять патриотическую ярость, овладевшую французами после первых приказов о мобилизации.

Однако, ведь и Роллан был прав по-своему. Он отнюдь не являлся пораженцем, он не желал гибели Франции и вообще был чужд партийной и классовой ненависти. Ему лишь казалось, что есть некоторые общие интересы культуры и человечности, не менее драгоценные, нежели интересы обособленных национальностей. Он считал себя патриотом в общеевропейском масштабе и ему представлялось нелепым, что отдельные провинции единого общего отечества стремятся стереть друг друга с лица земли.

Этого не могли и не хотели ему простить.

Роллан много передумал и перечувствовал в своем швейцарском изгнании. Итогом „ума холодных наблюдений и

сердца горестных замет" явилась пьеса „Лилюли". Здесь в образах шутовской символики представлена история начала великой войны.

Мировая трагедия явилась сюжетом балаганного представления, в котором Полишинель—французский Петрушка—играет главную роль.

* * *

Эта странная комедия не предназначается для сцены. Нет театра, который рискнул бы на подобный опыт, не произведя многочисленных аранжировок и купюр, грозящих отнять у пьесы значительную долю ее пикантности. Но даже и после всех переделок и сокращений нужны будут целые полки актеров и необыкновенно сложная декорация.

Эта последняя изображает горный пейзаж. Сейчас же за рампой находится плоская возвышенность, отделенная от заднего плана глубокой лощиной, которая образует собой границу между владениями двух народов—галлипулетов и хюрлюберлешей. Вдоль нее извивается дорога, уходящая затем в гору. Эта дорога есть не что иное, как исторический путь человечества, пресловутая дорога прогресса, по которой в течение всей первой половины действия движутся пестрые толпы пилигриммов: школьники со своими учителями, группы юношей и девушек, люди зрелого возраста, нагруженные разнообразным и, по большей части, нелепым и ненужным скарбом, наконец, сам старик Филемон со своею Бавкидой. Из первых реплик зритель узнает, что это переселяются из нижней долины обитатели деревень, застигнутых наводнением. Но этот реальный, житейский мотив скоро забывается,—и вообще в пьесе нет и тени внешнего правдоподобия: здесь перемешаны типы и костюмы различных исторических эпох, и, как в средневековой мистерии, воплощения отвлеченных принципов выступают наряду с живыми людьми.

Над всем этим шествием носится, как птица, ведет и направляет его фея иллюзии Лилюли, насмешливый демон в женском образе.

Она мала ростом, миниатюрна, с простодушно лукавыми голубыми глазами и улыбающимся ртом, в котором сверкают белые зубы. У нее руки тонкие, как у подростка, и мелодический голос, волнующий душу. Она не ходит, а незаметно скользит, словно реет в воздухе. На ней платье во вкусе Боттичелли, лиловато-голубого цвета, препоясанное гирляндой золотых и зеленых листьев.

Человеческие толпы влекутся за ней, но она ускользает от них, напевая, как птица:

Лаира-ира-ира
Лаирэт! Лаирэт!
Лаира-ира-ира
Lavenir! ça ira!

Но вот появляются традиционные персонажи кукольного театра—Полишинель, обыкновенный старый Полишинель с горбом за спиною и гремушками на колпаке, и крестьянин Жано верхом на осле. Жано—типичный французский мужик из центральных департаментов. Он высок, тощ, одет в длинную блузу из грубой ткани; в его руках кирка, с которой он не расстается.

Разнуздав осла, Жано отмечает киркой границы участка земли и кричит Полишинелю: Эй ты! не ходи сюда! Это мое поле!

Полишинель. Зачем ты это делаешь? Ведь все равно придется бросить.

Жано. Это не для меня; это для нее.

Полишинель. Для кого?

Жано. Для моей красавицы (показывает на землю). Да, это сильнее меня. Когда я вижу землю—девственницу или вдову—я должен ее утешить.

Полишинель. Старый прелюбодей!

Жано. У каждого своя слабость. У одного земля, у другого девки.

Полишинель. Забавляйся, молодчик! Работай, гни поясницу! Я буду смотреть. Нет ничего полезнее для здоровья, как смотреть на чужую работу. В тени так приятно. Потейте, добрые люди. Будем наслаждаться хорошей погодой и гримасами прохожих.

(В отдалении слышна песня Лилюли: „Лаира-ира-ира". Вбегает Альтаир—красивый юноша того типа, какой можно видеть на холстах Перуджино или молодого Рафаэля).

Альтаир. Вы не видели ее?

Полишинель. Кого, мой мальчик?

Альтаир. Волшебную птицу.

Полишинель. Лилюли чаровницу?

Альтаир. С самой ночи я гоняюсь за ней. Я слышу, как ее песня перепархивает с дерева на дерево передо мной. На поворотах дороги я вижу, как веет край ее одежды и мелькает голая пятка. Однажды, я уже почти настиг ее. Но, оста-

повившись на минуту, чтобы поднять серебряную застежку, которую она уронила, потерял ее из виду. Теперь не знаю, где искать ее... Лилюли!

Полишинель. Лучше оставь ее в покое. Птицелов легко может угодить в сети птички.

Альтаир. Этого я и хочу.

Полишинель. В таком случае, оставайся здесь. Если ты избегаешь ее, она тебя ищет; если ищешь—избегает.

Альтаир. Оставь меня, оставь меня! Не задерживай меня больше!

Полишинель. Глупец! Молчи, прикуси язык! Ручаюсь, что она лишь только перестанет слышать твой голос, сама к тебе явится.

Альтаир. Ты думаешь?

Полишинель. Я уверен, что заметил ее хитрый нос! Она тут, в засаде.

Альтаир. Где же?

Полишинель. Всюду, где и ты. Хочешь, чтобы она прилетела? Давай бранить ее.

Альтаир. Никогда.

Полишинель (взяв его за руку). Поди сюда! Смотри! Я обещаю тебе зрелище поинтереснее твоей пошлой блондинки.

Он указывает ему на дорогу. Здесь последовательно проходят *Жизнь* в виде безголового богатыря, *Разум* с повязкою на глазах, *Амур*—бог любви—тщедушный, хныкающий, невзрачный, *Вооруженный мир*, сопровождаемый многочисленной воинской свитой, *Свобода* с бичом в руках, *Равенство*, всем угрожающее своими огромными ножницами, и *Братство* в виде негра-людоеда.

Альтаир (с отчаянием). Гнусное издевательство! Нет, я не хочу больше смотреть... Все, что я любил и почитал, предстает здесь в шутовских или отвратительных формах. Каннибальное Братство, Свобода, погоняющая бичом скованных людей! Слепой Разум и бессмысленная Любовь! Ради чего жить! Ради чего?

Лилюли (появляется позади *Альтаира* и закрывает ему глаза руками). Ради меня!

Альтаир (вздрогнув). Возлюбленная! Это ты!

Лилюли. Не шевелись! Оставайся так! (Попрежнему закрывая ему глаза своими руками, она кладет его голову себе на грудь).

Альтаир. Я чувствую, как трепещет твое горлышко, я слышу, как бьется твое сердце прямо против моей шеи. С

концов твоих пальцев, свежих, словно цветы, твое существо, как ручей, изливается в мое пылающее тело. Я изнемогаю от любви .. Ты здесь! Ты здесь!

Лилюли. Все ли хорошо теперь?

Альтаир. Все хорошо, все прекрасно.

(внезапно как бы пробуждается)

Но, однако, что значили эти чудовищные образы, которые я только-что видел?

Лилюли. Ты грезил.

Альтаир. Однако...

Лилюли (не открывая ему глаз, придвигает свое лицо к лицу Альтаира близко, совсем близко, как будто хочет поцеловать его рот, однако, не касается его). Ты грезил.. смотри теперь!

Альтаир. Что за новый свет! Солнце не жжет более. Острый запах пыли и пота перестал клубиться над дорогой. Ветерок, свежий, как твои пальцы, ласкает меня. Гармонические существа движутся в чудесном ритме. Свобода открывает им путь, убирая тернии с дороги. Подобно тому, как Юнона из своей круглой груди изливает Млечный Путь, так Братство своими любвеобильными пальцами выдавливает ручей молока из своих пурпурных сосцов. И я слышу, как щебечут на деревьях Любовь и Разум, словно целующиеся жаворонки. О, Жизнь! Я снова увидел твой утраченный лик. Как он добр, как он прекрасен!

(Он поник и дремлет в об'ятиях Лилюли).

Лилюли. Бай-бай, детка, бай! (Она целует его в глаза, кладет тихонько на землю, окутывает ему голову своим покрывалом; потом, обращаясь к солдатам, конвоирующим *Вооруженный мир*, говорит):

—Теперь берите его. Он будет отлично спать на этом лафете (Солдаты уносят Альтаира).

Полишинель. Пантера с золотыми глазами, мурлыкай, лижи кончиком розового языка твои жестокие зубы и губы! Что—хорош вкус крови?

Лилюли. Восхитителен.

Полишинель. Гирканская тигрица!

Лилюли. Бирманский индюк!

Полишинель. И тебе не стыдно?

Лилюли. Что-ж тут дурного? Я делаю людей счастливыми.

Полишинель. Ты предала этого ребенка?

Лилюли. Он не поменялся бы своею судьбою с самим королем. Спать на пушке, грезя о братстве! Что может быть

слаще, когда имеешь от роду всего двадцать лет. Я уверена, что и тебя это соблазняет.

Полишинель (пятясь). Спасибо!.. Благодаря Бога, мне уже не двадцать лет. Ни разу еще я не ценил этого преимущества так, как нынче.

Лилюли (приближаясь). Никогда не поздно быть счастливым.

Полишинель (пятясь). Спасибо! Я не гожусь в строй.

Лилюли. Какая жалость!

Полишинель (насмешливо). Такой красивый мужчина!

Лилюли. Но и не совсем урод!

Полишинель (разражается хохотом, однако, позволяет Лилюли подойти немного ближе).

Лилюли. Если ты хочешь, я могу, в виде особой милости, сделать так, что тебя примут.

Полишинель. Спасибо.

Лилюли. Почему ты уклоняешься? Ведь у тебя, во всяком случае, гибкие ноги. Пройдись немного, чтобы я видела... Подними руки... какой прекрасный солдат. Я готова на что угодно, лишь бы понравиться тебе, негодяй. У меня к тебе слабость.

Полишинель. Ко мне?

Лилюли. К твоему розовому носу, к твоему лицу, похожему на веселый молодой месяц, к твоим красивым глазам, большим и круглым, как у сокола, к твоему веселому нраву и к твоей походке канатного плясуна.

Полишинель. Перестанешь ли ты издеваться!

Лилюли. Разве ты не знаешь, что женщина всегда издевается над тем, кого любит?

Полишинель. Я боюсь твоего языка.

Лилюли. А моих губ?

Полишинель. Нет... да. Полиши, мой друг, ты готов .. Нет, стой! (Он отступает назад в ту самую минуту, когда она хотела прикоснуться к нему).

Лилюли. Трус! Чтобы тебя успокоить, я поднимаю руки. Товарищ!

Полишинель. Какие они белые и полные!

Лилюли. Пощупай их! Они настоящие.

(Полишинель протягивает руку, отдергивает ее, протягивает вновь. Тем временем Лилюли приблизилась и незаметно трогает его своей рукой).

Лилюли. Он дрожит... он пылает... он жарится!

Полишинель. О! Сейчас я попадусь!

Лилюли. Он попался!

Полишинель (ощупывая ее). Персик... круглый и сладкий... (берет ее за талию). Да она вовсе не худощава! Кто бы мог поверить этому? Жирна, как перепелка... Скажи, как умудрилась ты казаться совсем прозрачной тенью, дуновением, душою без плоти, без полушарий, когда сажала в клетку этого кенара?

Лилюли. Моего сонного мальчика? Для каждого своя приманка.

Полишинель. Чижикам—сухие кости!

Лилюли. Двадцатилетним мечтателям—душа. Тело—ничто, случайность. Неправда ли, Полиши?

Полишинель. Ну, не для меня. Я не могу питаться душой; у меня хороший аппетит.

Лилюли. И ты доволен, обжора?

Полишинель. Могу этим удовольствоваться. В твоем саду найдется чего поесть и выпить.

Лилюли. Да, но не теперь.

Полишинель. Почему?

Лилюли. Не при всех. (Она указывает на прохожих, идущих по дороге).

Полишинель. О, я не стесняюсь.

Лилюли. Но я стыдлива.

Полишинель. Хорошо, что ты сознаешься в этом. Иначе никто бы не догадался.

Лилюли. Иди сюда.

Полишинель. Куда это?

Лилюли. К этим кустам. (Она увлекает его в сторону дороги). Не верти головою, трус. Смотри мне в глаза. Ближе, ближе. Что ты видишь?

Отступая шаг за шагом, она увлекает его на край дороги, к обрыву. Она продолжает отступать и теперь реет над пустотой, чего Полишинель не замечает, так как не глядит себе под ноги. Однако, он внезапно пробуждается, когда земля исчезает у него из-под ног и как раз во-время, чтобы ускользнуть от двух дюжих сержантов, которые поджидали его на дне канавы.

Полишинель (прыгая назад). Тюрлютю! Я вижу повешенного Пьеро!

Вербовщик (потрясая плакатом). Во имя славы!

(Спасаясь от вербовщиков, Полишинель влезает на фруктовое дерево).

Первый вербовщик. Ну, сударь, ну! Остановка только за вами. Вы уже записались. Мы кончаем. Взгляните на эти мундиры! Эта каска будет вам к лицу. Хотите получить нашивки? Ну, сударь, спускайтесь!

Второй вербовщик. Спускайся, молодец, или я влезу и отцеплю твою луну.

Полишинель. Берегитесь! (бросает в них сливами).

Второй вербовщик. Подлец! Это вольный стрелок.

Первый вербовщик. Это неправильно! Запомните, пожалуйста, сударь, что, не будучи солдатом, никто не имеет права защищаться. Это преступно.

Полишинель. Но как хорошо быть солдатом!

Второй вербовщик (обращаясь к Лилюли). Что нам делать сударыня, с этой рогатой тыквой? Не снять ли этот фрукт?

Лилюли. Нет, нет, пусть его дозревает. Рано или поздно дыня попадет к нам в тарелку. Еще не время. Надо подождать, пока солнце позолотит ему бока.

Полишинель. Подожди!

Лилюли. Я тебя заполучу.

Полишинель. Никогда! Смех — оружие против иллюзии!

Лилюли. Ты ошибаешься, приятель. Ты работаешь для меня. Ты себя считаешь хитрецом потому, что «ты не веришь». Ты не веришь, ты смеешься. Но ты действуешь, как другие. Смейся же, мой друг, смейся! Твой смех помогает идти тем, кого я увлекаю.

Полишинель. Висельница! Лгунья!.. А все-таки она красива.

Лилюли (смеется). Прощай, мой возлюбленный!

Полишинель остается на дереве. Лилюли удаляется напевая. Вербовщики следуют за ней.

* * *

На сцене толпа верующих, которые поют на разные голоса нелепый гимн, составленный из одних только имен:

— Ora pro nobis святой Геннадий, святой Аркадий, святая Люция, святая Эволюция, святой Гервасий, святой Акакий и т. д.

Среди них и Господь Бог, одетый арабским купцом с тюком восточных материй на плечах, и Истина в виде пестро-наряженной цыганки. Она толкает перед собою повозочку, наполненную маленькими идолами и амулетами.

Полишинель. Эй, купец, ты, кажется, хорошо зарабатываешь?

Господь Бог (скромно). Боже мой, сударь, ведь надо жить.

Полишинель. Но знаешь-ли, эта торговля может навлечь на тебя неприятности.

Господь Бог. С кем же это, сударь? Мои бумаги в порядке. Я—человек порядка, я уважаю государство, всякое государство. Мой принцип, сударь, быть в хороших отношениях со всеми, кто силен. Кто бы они ни были, они прекрасны, добры, словом—они сильны. Этим все сказано. Иногда они меняются. Но я меняюсь вместе с ними, или, иногда, на четверть часа раньше. О, меня не поймаешь! И вы всегда найдете меня в соседстве сильной руки.

Полишинель. Ха-ха-ха! В таком случае, отец, ты счастливее меня. Я часто оказываюсь на другом конце палки.

Господь Бог. Сын мой, нужно, чтобы на каждом из двух концов кто нибудь да был.

Полишинель. А если поменяться?

Господь Бог. Ну, нет, каждый должен оставаться на своем посту.

Полишинель. Но вернемся к нашему разговору. Пусть ты в хороших отношениях с сильными мира сего. Ты платишь, и твое дело сделано. Ну, а старый Отец—каким оком он на тебя смотрит?

Господь Бог. Какой отец?

Полишинель (указывая на небо). Старик, который живет там, наверху. Разве ты не боишься его гнева? Ты делаешь ему конкуренцию, продавец идолов!

(Господь-Бог начинает смеяться).

Полишинель. Отчего ты смеешься?

(Господь-Бог давится, Полишинель колотит его по спине).

Полишинель. Ну, ну...

Господь Бог (успокоившись, очень вежливо). Простите, сударь! (Он снимает тюк материй со своего плеча и, без церемоний, но в то же время и с величайшей вежливостью, нагружает им ошеломленного Полишинеля). Позвольте.

Полишинель. Но... (Ничего не понимая, он стоит, нагруженный, как осел. Господь-Бог, освободившись таким образом, спокойно снимает с себя бурнус арабского купца, тюрбан и т. д.).

Полишинель. Но... Но...

(Господь-Бог появляется с длинными, прекрасными волосами, хорошо причесанными и завитыми, с холеной бородой,

в белом халате, на котором спереди вытканно золотое солнце, а сзади луна. Он оканчивает свой туалет перед зеркалом, которое ему протягивает Истина. Продолжая это дело, он конфиденциально говорит на ухо Полишинелю). Старик, живущий наверху, сударь, это — я.

Полишинель (ничего не понимая). Что?

Господь Бог (подмигивая). Всевышний Бог, сударь, к вашим услугам.

Полишинель (усиленно раскланиваясь). Господи, прошу прощения... Я был слишком фамильярен.

Господь Бог. Ничего, сын мой, я привык.

Полишинель. Но это переодевание...

Господь Бог (добродушно). Эге! Я был хорошо загримирован! (Показывая на Истину). Это она меня одевает. Позвольте. (Он их знакомит). Мой сын Полишинель... Моя... скажем, моя подруга, Чирридихикилья (Полишинелю, который никак не может уразуметь что-либо). Истина, мой сын, одаренная голосом ласточки.

Полишинель. Мадемуазель или мадам, я вас считал... извините... из нашей семьи, Арлекиной.

Истина. И вы, кум, не ошибаетесь. Арлекин мой двоюродный брат. Я, как и он, одета в цвета радуги.

Полишинель. Костюм вам очень идет, но я предпочел бы видеть вас на краю колодца одетой... совсем голой.

Истина. Чш! (Она указывает на Бога, который тем временем разбирает вещи в тележке). Это для него одного. Он ревнив. Драгоценности у него под ключом. Но, кузен, когда чего-нибудь сильно желаешь, всегда найдется способ... Я больше ничего не скажу. Когда нет ключа...

Полишинель. Тогда идут к слесарю...

Истина. Чш!

Господь Бог (с некоторым подозрением, но отечески). Ну, дети мои, вы, кажется, быстро познакомились.

Полишинель (щупая край платья Истины). Я восхищаюсь, Господи, изменчивым цветом этой ткани.

Господь Бог. Да, она того же цвета, что горлышко у голубя. Это я его выбрал. Он изменяется, сообразно настроению духа прохожих. Один желает истины розовой, другой — темной или серой, третий — зеленой, как надежда, или красной, как кровь. Каждый получает по своему вкусу. Я хочу, чтобы все были довольны.

Толпа на сцене густеет. Целый народ—Галлипулеты, собираются у лощины, на краю, ближайшем к зрителю. На противоположном краю собираются Хюрлюберлеши. После короткой перебранки, между обоими толпами завязываются довольно мирные и даже приятельские сношения. Рабочие начинают строить мост через лощину. Еще немного, и не будет границы между двумя нациями.

Это пугает партию Жирных, которые боятся, что их привилегиям придет конец, лишь только Тощие обоих стран столкуются между собою. Они выпускают вперед дипломатов. Затем потихоньку зовут Бога.

Господь Бог. Они подают мне знак... Нужно помочь моим добрым сыновьям. Ибо сказано: „помогай себе и Небо тебе поможет" (К окружающим). Извините, меня зовут (Истине, которая готовится следовать за ним). Нет, оставайся здесь. На некоторое время мы в тебе не нуждаемся. Когда все будет кончено, мы тебе скажем (Полишинелю). Мой сын, вверяю ее тебе... Не злоупотребляй этим! Я вернусь за нею. (Он уходит, мелкими торопливыми шагами, но оборачивается). Относись к ней уважительно, Полишинель!

Полишинель. Буду беречь, как зеницу ока.

Истина (которая только и ждала удаления Господа Бога). Старик ушел? (Бросается на шею Полишинелю). Гоп-ля! Увези меня!

Полишинель. Что? Что?

Истина. Увези меня! Presto! Presto! Удираем!

Полишинель. Ах!Но нет! Что за история! Старик взбесится.

Истина (топая ногами). Довольно с меня, довольно с меня этих стариков, этих королей, этих священников, этих министров, этих толстых буржуа, этих дипломатов, этих журналистов, всех этих шутов мыслителей, брюхачей, этих богов, этих стариков! Довольно с меня! Довольно слушать; довольно, довольно лгать! Я хочу жить, петь, танцовать, бегать и смеяться. Мой кузен, мой кузен, скверный, горбатый, кривой, но откровенный и веселый, если ты хочешь, я полюблю тебя. Спаси меня от них! Они придут, они замкнут меня, наденут мне намордник и пояс целомудрия... Увези меня! Мы пойдем, смеясь, говоря правду людям и показывая им нос, раскрывая закрытые глаза, выпуская на свободу замурованных, распутывая связанных, впуская искру света в закопченные мозги, разбивая алтари и троны и позволяя звездному небу смеяться сквозь разорванную завесу тьмы.

Полишинель. Потише, потише, кузина, вы навлечете на меня большие неприятности. Мы с вами скоро окажемся в участке.

Истина. Вот беда, Поли! Мы будем лежать в одной и той же постели... Поли, Поли, маленький петушок, пусть тебя повесят или я вечно буду тебе верна... Мы любим друг друга и что нам за дело до всего остального!

Полишинель. Ах, прошу прощения, но мне есть до этого дело.

Истина. Но ведь мы будем вдвоем, говорю я тебе. С тобою вместе я готова взобраться на костер.

Полишинель. На костер! Чорт побери мой горб! Быть вдвоем очень приятно, без сомнения, на этих подмостках, но... у меня даже спина вспотела... Я предпочитаю быть один, но в менее жарком месте.

Истина. Трус! Размазня! Баранье сердце! Ты вечно тот же! Ты боишься палки; ты умеешь смеяться, но прикрываясь рукой, как школьник. Так же, как и твои деды, великие Полишинели, мастера свободной иронии и смеха, Эразм и Вольтер, ты благоразумен, благоразумен! Нечего сказать, хороши мои любовники! Им бы только спасти свой разум и свои штаны—им нет дела до остального. Моя любовь сделала их свободными, но меня, меня они оставляют в рабстве. Ах, вы не любите меня, нет, вы не способны любить Истину, вы любите только себя; вы не захотите рискнуть даже волосом, чтобы освободить меня... Смех, ты лиса. О! ты не лев... смейтесь же, насмешники! Наказание ваше в том, что вы сумеете хорошо смеяться над ложью, запутавшейся в ваших тенетах, но никогда, никогда вы не поймаете в них Истины. Так как вы боитесь, что вас увидит все общество, я не буду вашей верной подругой, которая держит вас за руку днем, а ночью осеняет ваш сон. Вы останетесь одни, насмешники, одни с вашим смехом под сводом пустоты. И тогда вы позовете меня. Я не отвечу, я буду далеко, упрятана. Ах! когда придет настоящий возлюбленный, великий победоносный Смех, который воскресит меня своим рыканием.

Господь Бог (издали). Алло! Истина! Уже время, иди одеваться!

(Истина сурово закутывается в свой плащ цыганки).

Истина (Полишинелю). Никогда больше ты не услышишь моего голоса (убегает).

Полишинель. Вот развязка! Кузина очаровательна, конечно, очаровательна... Но что за темперамент! Уф! Вообра-

зите меня в постели с этим вулканом. Мне говорили, что Истина—целомудренная, красивая девица, ограниченная и хорошо воспитанная... Верьте, после этого, брачным об'явлениям! Взбесившаяся коза! Чорт побери! Но она просто огонь! Коснись ее, испечешься... Попробуйте-ка прогуляться с такой экстравагантной особою под руку! Все будут показывать на вас пальцами. Это очень мило—Истина... Но, между нами говоря, господа, маленькую хорошенькую ложь гораздо приятнее щекотать... Господа, будем лгать и щекотать... Что это? (он вырывает у одной из прохожих предмет, который она только-что подняла). Оставь это! Гранатовый цветок из ее черных волос; потрясая ими, эта сумасшедшая уронила его... Он пахнет благовонным испарением ее кос... Я нюхаю его и жую, как осел! Проклятие! Я был подлецом.

* * *

Тем временем рабочие окончили мост. Они хотят перейти и между ними и дипломатами возникает спор. На мост ставят стражу. Чтобы отвлечь внимание толпы, начинает говорить речь Полоний, председатель Лиги Пацифистов. Между тем Жирные втихомолку подвозят пушки и устанавливают их вдоль края лощины. То же самое происходит по другую сторону, на территории Хюрлюберлешей. Тогда Полоний сходит с трибуны, и толпа, подстрекаемая Жирными, начинает переругиваться с Хюрлюберлешами. Военные приготовления делаются уже открыто.

Господь Бог (окруженный толпой). Подождите! Меня не хватает на празднике. Где пушки, там и я. Разомкните ряды! Простите, дети мои, простите... Это я, Бог, позвольте пройти. (Он прокладывает себе путь через толпу).

Толпа галлипулетов. Это Бог! Бог появился! Бог за нас! Бог с нами!

Толпа выравнялась и видно как *Господь Бог* марширует в военной форме галлипулетов. Позади него, на носилках, окруженная дервишами и журналистами, *Истина.* Она почти исчезает под тяжелой золоченой мантией, скрывающей ее руки. Массивная тиара клонит к низу ее чело: блестящий, металлический вуаль покрывает ее нос, рот и подбородок, как у аравитянки; только глаза свободны. *Жирнейшие* держат с видимым почтением шлейф ее длинного византийского плаща и прикрепленные к нему золотые и серебряные банты. Ее строго охраняет отряд избранной стражи: журналисты,

дипломаты и т. д., которые никому не позволяют приблизиться и отгоняют любопытных.

Господь Бог. За вас, друзья мои, весь к вашим услугам, я, мои родные, мои слуги и моя дама (он кланяется), госпожа Истина, ваша царица и покорнейшая слуга. Так как я ваш Бог, то должен вам повиноваться. Клянусь богом! Я вас люблю; у вас очень хорошо; кормы прекрасные, стало быть, ваше дело не может быть неправым... Ваше достояние, друзья мои, священно; и достояние других тоже будет священным, когда оно сделается вашим, ибо вы обладаете Истиной. Все у вас свято, и сами вы—маленькие святые; следственно, кто нападает на вас, тот проклят, и вы можете наказать его; это благое дело. И вот на вас напали, это очевидно: у Истины есть на этот счет доказательства в запечатанном пакете; их нельзя показать вам: это секрет. Но вы справедливы; на вашей стороне все преимущества; итак, на вас должны напасть. На вас и напали. Нападайте же, чтобы защищаться! Впрочем, что говорю я? Защищайте справедливость, добродетель и меня самого, вашего Бога! Смелее, вперед! Убивайте, убивайте! Дети мои, идем сражаться!

Один из тощих. Но, Господи, почему не говорит Истина?

Господь Бог. Она боится свежего воздуха, мое милое дитя. У нее слишком нежное горло и, кроме того, болят зубы. Но если ты обратишься с вопросом к одному из господ, которые ее несут, или к журналистам экскорта, то все узнаешь. Они изучили ее с головы до пяток; они видели ее под одеялом.

Истина (внезапно приподнялась на своих носилках. Резким усилием ей удалось сбросить покрывало, и теперь появляется ее смуглое тело, нагое до пояса: ее руки и ноги связаны. Вуаль свалился, и можно видеть ее выразительное лицо гитаны с заклепанным ртом. Неподвижная, она производит впечатление дикой силы, которая борется против своих уз. Среди экскорта смятение).

Господь Бог (поспешно). Скорее, скорее! Спрячьте ее. (К народу): Дети мои, не глядите! Опустите глаза! Кто видит нагую истину, тот становится рогоносцем, если он мужчина, и теряет дар слова, если он женщина. Берегитесь! Направо кругом!

(Все поворачиваются по команде, становятся спиною к Истине или же закрывают лицо руками. И, конечно, здесь и там находится несколько девченок и приказчиков, которые все-таки смотрят сквозь растопыренные пальцы. Носилки

опущены на землю, и буссоланты, наложив руки на смуглые, нагие плечи Истины, заставляют ее сесть).

Господь Бог (вполголоса): Дерзкая! (Буссолантам). На этот раз привяжите ее покрепче. (Истине): Что это! Разве ты недовольна своими золотыми узами.

(Почтительнейшим образом Истину привязывают к спинке ее кресла. Покрывало торжественно набрасывается вновь на ее плечи. После чего буссоланты, журналисты и т. д. отступают на три шага назад и кланяются в землю своему идолу; затем занимают свои места вокруг носилок. В течение всей этой сцены господствует мертвая тишина. Толпа стоит неподвижно. словно окаменев).

Господь Бог. Теперь, дети мои, вы можете смотреть.

(Все оборачиваются).

Толпа (в восторге потрясая муфтами, шляпами, пальмами и зонтиками): Да здравствует Истина!

(Кортеж торжественно подвигается вперед. Полишинель, о котором все забыли, взобрался на вершину острого утеса, откуда молча наблюдал за всею сценой. Внезапно он разражается хохотом, бешеным, острым, заразительным, прорывающимся среди шума толпы. Все взгляды направляются в его сторону. И понемногу, ничего не понимая, вся толпа начинает хохотать гомерическим хохотом, покрывающим все).

Господь Бог (с досадою показывает кулак Полишинелю). Сукин сын! Он испортит мне весь эффект (овладевая собой). Мой сын, благословляю тебя.

Полишинель (Истине). Будь спокойна, кузина, моя спеленутая, взнузданная кузина, я слышу твой крик из-под повязки, я вижу сквозь вуаль, как твои зубы грызут заклепку. Они сковали тебя, но они с тобою носятся. Они боятся своей пленницы, и твое молчание говорит громче, нежели все их пышные слова. Будем смеяться, кузина, мы останемся правы!

(Кортеж направляется к мосту).

Народ. Куда вы идете? Они уходят! Остановитесь!

Господь Бог. Позвольте пройти!

Полишинель. Ты покидаешь нас и уходишь?

Господь Бог. Не беспокойтесь. Мои милые дети, в качестве вашего бога я должен первый пройти по этому мосту. Предоставьте мне действовать. Они нуждаются в хорошем нравоучении. Я задам головомойку этим отверженцам и уничтожу их светом права и свободы. Это дело одной минуты.

(Часть кортежа вступает на мост. Другая —журналисты и дипломаты—остаются у входа).

Стража хюрлюберлошей. Здесь нет прохода. Wer da?

Господь Бог. Herr Gott. Вот мой паспорт.

Стража. Der alte Gott! Паспорт в порядке. Пропустите нашего старого Бога.

Полишинель. Что он делает? Он опять раздевается.

(*Господь Бог*, с помощью своих камергеров, быстро снимает военную форму галлипулетов и является одетым в другую форму. На голове у него остроконечный тюрбан. Его окружает экскорт знатных и могущественных хюрлюберлешей, носящих такие же тюрбаны).

Стража. Его Величество, великий хан—Хан-Вилли-хан—Хан ханов!

(*Господь Бог* спешит навстречу Великому Хану хюрлюберлошей. Они обнимаются).

Господь Бог и Великий Хан. Мой сын... мой брат... дядюшка... кузен... кум...

(После долгих приветствий они меняются тюрбанами и со смехом вновь обнимаются. Господь Бог ведет затем Великого Хана к ногам Истины, посилки которой, поставленные на землю, уже окружены новой свитой. Великий Хан низко кланяется ей, затем, повернувшись к Господу Богу, тихонько говорит что-то, указывая на свои глаза, на небо и на Истину. Господь Бог делает подбородком знак согласия, не меняя, впрочем, своей величественно-добродушной улыбки).

Господь Бог. Да, свет слишком силен... Наденьте ей повязку. Так будет здоровее для глаз.

(Истине завязывают глаза. Для большей безопасности ей окутывают голову другим вуалем, густым и черным. Теперь она имеет вид осужденного, которого ведут на казнь. Военная музыка).

Толпа галлипулетов (охваченная ужасом при зрелище удаляющегося Бога). Он уходит! он уходит!

Великий Дервиш. О, нет! Не плачьте! Он вездесущ. Он здесь и там.

Толпа (в отчаянии). Он ушел, он ушел! Глаза мои видели это!

Великий Дервиш (презрительно). Видели! Хорошее доказательство! Дети, никогда не надо верить тому, что видишь!

Толпа. Чему же верить?

Великий Дервиш. Голосу. Слушайте! Его голос остался с нами.

Голос Господа Бога (в граммофоне). Дети, я здесь! Слушайтесь ваших дервишей!

Толпа. Чудо! (падает ниц).

(Военные приготовления идут полным ходом. Выступает хор *интеллигентов*, вооруженных разнообразными музыкальными инструментами; они настраивают их с великой важностью и шумом. Войска сосредоточиваются у входа на мост).

Появляется *Лилюли* и начинает будить спящего *Альтаира.*

Лилюли. Альтаир, мой милый. Да ну же, соня!

Альтаир (пробуждаясь). Лилюли!

Лилюли. Милочка моя, время настало. Любовь моя, наступил день, когда ты должен показать, сильно ли ты меня любишь. Тот, кто не отдаст всего, остается у дверей своей возлюбленной. Кто отдаст все, тот поселится в сердце своей Лилюли, это его гнездышко! Хочешь ли ты этого? Хочешь ли ты отдать мне все?

Альтаир. Хочу, хочу.., но у меня ничего нет.

Лилюли. Отдай это ничто! Ведь мне нужно ничто: жизнь. Ты отдашь мне жизнь, скажи? Ты согласен пострадать за меня, скажи? Ты готов умереть?

Альтаир. Да, да, пострадать, умереть... о, блаженство! Я хотел бы, чтобы моя кровь пролилась, как вино из раздавленной виноградной кисти, лишь бы утолить твою жажду. (Схватывает Лилюли на руки и поднимает ее). Ах, я понесу тебя на руках до вершины. И если бы весь мир хотел помешать мне, я все-таки пойду, пока твои золотые, обожаемые руки обвивают мою шею (Он устремляется на мост).

Толпа. Берегись упасть!

Альтаир. Я ничего не опасаюсь. Моя поступь тверда. (Внезапно он останавливается, вскрикнув от удивления).

Лилюли. Дружок, что с тобой? Почему ты остановился?

Альтаир. Стой! Что я вижу! Там... о Боже!... это он! это он! это мой друг, мой брат... Антарес!

Антарес. Альтаир!

(*Альтаир* опускает Лилюли на мост, чтобы протянуть руки Антаресу).

Лилюли (с досадой). Или я слишком тяжела? Что? Ты бросаешь меня посреди моста?

Альтаир. О, мой друг!

Лилюли (хватает его за руку, дергает за волосы, щиплет). Безмозглый! Ветренник! Нахальный воробей! Значит, ты забыл мои золотые руки и мой поцелуй!

Альтаир (отталкивает ее с нетерпением). Мой друг, мой друг, почему ты здесь?

Антарес. Я с моим народом. А что делаешь ты?

Альтаир. Веду мой народ в битву.

Антарес. Против кого?

Альтаир. Я не знаю.

Лилюли (шепчет). Против них.

Альтаир. Значит, против него?

Лилюли. Что за беда!

Альтаир. Ах, ты не знаешь, чем он был для меня и что мы собой представляем: близнецы! Можем ли мы жить один без другого? Он был моим товарищем, братом, разделявшим мои юные грезы, мои несчастия, мое счастье, мое сердце; он страдал от тех же несправедливостей, пьянел от тех же надежд, проводил ночи, завоевывая со слезами на глазах и со смехом таинственный материк будущего. Он для меня все. Он — это я сам!

Лилюли. Что же остается мне? Так-то ты меня любишь!

Альтаир. Ах, Лилюли, прости! Ты, ты гораздо красивее и лучше (или хуже—минутами я, право, не знаю). Ты — другая. И вот почему я стремлюсь тобой овладеть. Но он и я — мы одно. Ты—плод Гесперидских садов, а мы—аргонавты. Один и тот же корабль уносит нас к острову, где растут золотые яблоки.

Лилюли. Ты, однако, видишь, твой брат бежал с вашего корабля, бросил его, отрекся от него. Он сражается под другим знаменем. Послушай только!

Антарес. Моя Лилюли!

Альтаир. Он любит тебя?

Лилюли. Да, он тебе изменяет. Он хочет отнять меня у тебя.

Альтаир. Но ты, ведь ты любишь меня?

Лилюли. Я принадлежу лучшему, самому храброму. Ну, дети, берите меня (Она улетает и садится, как птица, посреди моста на балке, свисающей над долиной).

Антарес (бежит на мост к Лилюли). Подожди меня!

Альтаир (преграждая ему путь). Она моя!

Лилюли. Ну, мои крошки, ради Лилюли, душите друг друга. Ну, мои любимчики, мои красавчики, мне нужно принести в жертву любимого друга. Для родины! Чем больше жертва, тем она прекраснее! Альтаир! Антарес! Альтаир! Если ты любишь меня, пожертвуй им. Что за любовь, которая отдает только то, чего сама не хочет. Смелее! Убивайте друг друга. Во имя любви! Да ну же, ну, мои волчата.

(Альтаир и Антарес начинают бороться, падают на мост, бешено осыпают друг друга ударами и, наконец, остаются

без сознания. По их следам толпа с обоих сторон устремляется на мост. Битва. Лилюли некоторое время порхает над ними и затем исчезает).

Хор *Интеллигентов*. Ах, как прекрасно сойти юным в могилу. Спасаешься от всех зол жизни. Счастливые дети, право. Почему нам не выпал тот же жребий? Но мы родились слишком рано.

(Однако, народы, обменявшись первыми тумаками, отступили к концам моста и благоразумно ругают друг друга, показывая кулаки).

Лилюли. Итак, мои овечки, вы дурно ведете себя? Вы не хотите блеять и бежать, мило подпрыгивая, с бантиками на шее, в руки мясника? Ба, ба, ба, вы еще будете блеять и прыгать. Надо поискать танцмейстера.

(Она напевает, как птица, и потом зовет):

— Кузина, кузина.

Вдали слышна автомобильная сирена. Это завывание, сначала пронзительное, как скрежет пилы, быстро расширяется и становится как бы осью, вокруг которой вертится смерч всевозможных других звуков: криков, пронзительных свистков, дикого гоготания, барабанной дроби, которую лихорадочно отбивают чьи-то руки, звона треугольников, колокольчиков и гонга. Вся толпа на сцене вдруг останавливается с разинутыми ртами и не двигается более, словно загипнотизированная. Но, по мере того, как приближаются раскаты урагана, все колени начинают дрожать, зубы стучать и головы уходят в плечи. Полишинель как бы расплющивается, исчезает в углублении позади утеса, и виден только горб его спины.

На сцену врываются стаи сатиров и кривляющихся обезьян, которые играют на флейтах и дудках прерывистый, шутовской, дикий мотив. Они выбегают отовсюду—справа, слева, сверху, снизу и на мгновение заполняют всю сцену. Кажется, что им не будет конца.

Наконец, в глубине бездны появляется фантастический автомобиль из черной стали, тупой и имеющий впереди рог, как у носорога. На высоком сиденьи без спинки, похожем на треножник Пифии, сидит, опустив ноги, богиня Ллопи—Общественное Мнение. Она кажетса чем-то средним между индийским божеством и мертвой женщиной с цюрихской картины Беклина „Три всадника Апокалипсиса". У нее угрюмые стеклянные глаза; грудь и живот голые. На передке автомобиля сидит, высунув вперед морду, Дьявол Дюрера (с картины „Рыцарь и смерть"): зубы волка и уши осла. Это

Зверь, который явился из первобытных глубин, куда Разум постоянно отгоняет его, но он всегда ждет своего часа (час рано или поздно наступает).

Казаки, составляющие конвой богини, колют пиками и поднимают нагайки. В ту минуту, когда шум достигает высшей степени, все вдруг обрывается: и движения, и звуки. Толпа стоит на коленях, согнув спины. Женщины скрывают лица поднятыми юбками. Одна минута абсолютного молчания. Затем богиня с силою опускает руки; всадники щелкают бичами. Толпа вскакивает одним прыжком, и люди, которых подгоняют и щиплют обезьяны, разом бросаются на мост. Происходит общая свалка.

Наконец, партия галлипулетов одолевает хюрлюберлешей и преследует их по ту сторону моста; другая партия хюрлюберлешей оттесняет галлипулетов и гонит их по сю сторону моста. Битва продолжается, но за пределами сцены. Интеллигенты, образующие хор, утомились. Они перестают петь, смотрят друг на друга, вытирают лбы, вспотевшие во время этой героической работы.

Но Зверь Дюрера, спустившись с автомобиля, медленно обходит вокруг хора и глядит на него с рычанием. Этого достаточно. Интеллигенты спешат к своим пюпитрам и пение возобновляется.

Сцена медленно пустеет. Хор интеллигентов удаляется под предводительством Лилюли. Господь Бог закрыл форточку в небе и спрятался за облаком. Ллопи и ее автомобиль вновь исчезают в бездне.

И тогда в тени скалы появляется горб Полишинеля. Он осторожно встает на ноги и поворачивает голову во все стороны, словно скворец. Затем, утомившись, он начинает смеяться. Его горб, его треуголка, его нос, его подбородок смеются; все его тело трясется от смеха, но не слышно ни малейшего звука.

Полишинель (к публике). Меня они не поймали. Смех уцелел.

Слышится ужасный шум, ниспадающий сверху, словно водопад. Все обрушивается на Полишинеля: сражавшиеся народы, мебель, посуда, домашняя птица, камни и земля. Полишинель исчезает под этою грудой. Туча пыли обволакивает сцену. На вершине появляется Лилюли. Она сидит, скрестив ноги, улыбаясь, показывая зубы и кончик языка, и говорит сентенциозно, приставив указательный палец к носу:

— Мудрец сказал;

Если не хочешь сыграть глупца,
Смейся, только дождавшись... конца.

* * *

Так оканчивается эта своеобразная пьеса. Мы привели ее в сильном сокращении, избрав для перевода наиболее яркие сцены. В оригинале есть длинноты, есть места, отзывающие некоторой наивностью, особенно с точки зрения современного русского читателя.

В самом деле, почему ограничивать поле деятельности иллюзии только международной войной? Если военная слава—иллюзия, то ведь и братская солидарность народов не менее иллюзорна. Да и вообще—есть-ли хоть одна вещь на свете, которую не могла бы использовать для своих целей Лилюли, способная принять любой образ и облечься в наряд какого угодно цвета?

Роллан изобразил самого себя под именем Полишинеля. Он с гордостью сказал, что смех на его устах есть надежная защита против иллюзии. Какое самообольщение! Кто следил за публицистической и общественной деятельностью этого писателя после войны, тот знает, что самонадеянный Полишинель не уберегся-таки чар Лилюли. Он только не знает, что его ведет запутанными тропинками та же фея, за которой человеческое стадо бежит по большой дороге. В глазах последовательного скептика радикальное общественное переустройство есть такая же невозможная и нелепая мечта, как национальное торжество и благополучие на счет побежденного соседа. Песенка Лилюли слышна попрежнему, и только другие слова переложены на старый мотив. Может быть, это даже хорошо. Жизнь без всякой иллюзии была бы весьма тягостна и, для подавляющего большинства людей, даже нестерпима.

Как всякий символ, пьеса Роллана шире содержания, в нее умышленно вложенного. Автор хотел написать сатиру на современное государство и на воинствующий империализм. Но сделайте очень небольшое изменение—и жало сатиры направится совсем в другую сторону.

П. Губер.

ФИЛОСОФИЯ БУДУЩЕГО.

(Из «Der Untergang des Abendlandes» [1]).

I.

Мышление современного человека географически ограничено и варьируется по частям света. Только наши историки и философы этого еще не знают. Какое значение могут, таким образом, иметь для нас те претендующие на универсальную обязательность мысли и перспективы, горизонты которых в действительности не выходят за пределы духовной атмосферы западно-европейского человека?

Взгляните с указанной точки зрения на наши лучшие книги. Когда Платон говорит о человечестве, он, в сущности, имеет в виду эллина в противоположность варвару. Это вполне соответствует неисторическому стилю античной жизни и античного мышления и приводит к результатам, вполне последовательно вытекающим из означенной предпосылки. Но когда Кант философствует хотя бы об этических идеалах, он стоит на той точке зрения, что его философские

[1]) Настоящая статья напечатана в сборнике «Современная немецкая мысль», вышедшем в дрезденском издательстве «Восток» под редакцией В. Коссовского. Автор ее – Освальд Шпенглер заметно выделился в Германии два года назад книгой «Крушение западной культуры», имевшей совершенно небывалый успех. Эта острая и талантливая книга уже успела вызвать о себе обширную литературу—дружелюбную и враждебную, а между тем русскому читателю она совершенно неизвестна.

Мы позволили себе одну главу из нее перепечатать из упомянутого сборника, считая, что делаем это в интересах русской культуры, уже давно отрезанной от Запада. Не желая, однако, безвозмездно пользоваться чужим трудом (в данном случае анонимного переводчика), мы вносим причитающийся за эту статью гонорар в кассу петербургского отдела Всероссийского союза писателей. *Ред.*

положения имеют безусловное значение для людей всякого рода и всех времен. Он только не высказывает этого, потому что для него самого и для его читателей это является само собою разумеющимся. В своей эстетике Кант формулирует не принципы искусства Фидия или Рембрандта, а принципы искусства вообще. Но устанавливаемые им, как необходимые, общеобязательные, формы человеческого мышления являются, в сущности, только необходимыми формами западно-европейского мышления. Беглый взгляд на Аристотеля с его существенно отличными результатами должен был бы нам показать, что тут размышляет о себе не менее ясный, а иначе устроенный ум. Для русских философов, как, например, для Соловьева, является непонятным космический солипсизм, лежащий в основе Кантовской критики чистого разума (всякая, даже самая абстрактная, теория является выражением определенного мироощущения) и делающий ее в глазах западного европейца самой истинной из всех философских систем; для современного же китайца или араба с их совершенно иначе организованными интеллектами учение Канта имеет лишь значение курьеза.

Что недостает западно-европейскому мыслителю, а как раз он не должен был бы страдать этим недостатком, так это: понимания исторически-относительного характера своих выводов, типичных для определенной и только этой одной категории людей; сознания необходимых границ обязательности его взглядов; убеждения в том, что его „неопровержимые истины“ и „вечные суждения“ истинны только для него и вечны только с точки зрения его миросозерцания и что на нем лежит обязанность подняться выше их и поискать тех истин и тех суждений, которые провозглашены были с такою же уверенностью людьми других культур. Для совершенства, для полноты философии будущего это необходимо. Лишь это означает проникнуться пониманием языка форм истории, форм живой вселенной. Здесь нет ничего постоянного и всеобщего. Нужно оставить разговоры о формах мышления вообще, о принципах трагического, о задачах государства, как такового. Общеобязательное есть лишь ошибочное перенесение с себя на других своих суб'ективных умозаключений.

Дело принимает гораздо худший оборот у мыслителей западно-европейской современности, начиная с Шопенгауера, у которых центр тяжести философского мышления переносится из абстрактно-систематической в практически-этиче-

скую область и на место проблемы познания выдвигается проблема жизни (воли к жизни, к власти, к действию). Здесь об'ектом исследования является уже не идеальный абстрактный человек, как у Канта, а человек реальный, как он живет на земле в исторические времена—в первобытном состоянии или в культурно-национальных группировках. И просто смешно, когда и тут об'ем высших понятий определяется схемой „древний мир—средневековье—новое время" и связанным с нею ограничением места. А между тем это приходится констатировать.

Присмотримся к историческому горизонту Ницше. Что легло в основу формулированных им понятий—декаданса, нигилизма, переоценки всех ценностей, концепций, коренящихся в самом существе западно-европейской цивилизации и имеющих решающее значение для ее анализа? Римляне и греки, ренессанс и европейская современность, и вдобавок еще беглый взгляд в сторону—неверно понятой—индусской философии; короче: древний мир—средневековье—новое время. Ни Ницше, ни другие мыслители этой эпохи не выходили, строго говоря, за указанные пределы. Но разве это может служить основанием для философии мира? Значит ли это заниматься исследованием человеческой истории вообще? Удивительно ли, что Ницше, переходя от отдельных наблюдений к об'единяющим обобщениям (сюда относятся его мысли о морали господ, о белокуром звере, о сверхчеловеке), но ничего не зная об Египте и Вавилоне, России и Китае, тотчас же приходит к суммарным, яко бы мирооб'емлющим построениям, но которые в действительности являются чисто провинциальными, совершенно произвольными и даже смешными?

В каком отношении находится понятие Дионисовского у Ницше к внутренней жизни высоко-цивилизованных китайцев эпохи Конфуция или современного американца? Какую роль могут играть в духовной жизни индуса или русского понятия о природе и духе, языческом и христианском, античном и современном, в качестве оформляющих антитез? Что общего у Толстого, отвергнувшего, исходя из присущей ему глубочайшей человечности, весь западно-европейский мир идей, как нечто чуждое и далекое, со „средневековьем", Данте, Лютером? У японца—с Парсифалем и Заратустрой, у индуса—с Софоклом? А разве мир идей Шопенгауера, Канта, Фейербаха, Геббеля, Стриндберга шире и охватывает больше? Разве вся их психология, несмотря на ее космические устре-

мления, не является по своему значению исключительно западноевропейской.

Какое комичное впечатление производят Ибсеновские женские проблемы, претендующие также на внимание всего „человечества", если на место знаменитой Норы, дамы крупного города северо-запада Европы, с кругозором, соответствующим наемной квартире с арендной платой от двух до шести тысяч в год и протестантскому воспитанию, поставить жену Цезаря, госпожу де-Севинье, японку или тирольскую крестьянку? Но и у самого Ибсена кругозор сегодняшней и вчерашней средней буржуазии крупного города. Его конфликты, психологические предпосылки которых существуют приблизительно с 1850 года и едва ли переживут 1950 год, уже и ныне не представляют собою конфликтов широких сфер и низов общества, не говоря уже о городах с неевропейским населением.

Все это—ценности, чисто эпизодические и местные, в большинстве случаев расчитанные исключительно на современную интеллигенцию больших городов западно-европейского типа, в них нет решительно ничего всемирно-исторического и вечного, и если они имеют еще такое существенное значение для поколения Ибсена и Ницше, то ведь это-то и значит обнаружить непонимание смысла выражения „мировая история", которая представляет совокупность, а не отбор, если мы подчиняем интересу современности факторы, лежащие вне его, недооцениваем или упускаем их из виду. И это случается необыкновенно часто. Все, что до сих пор было сказано или передумано в Западной Европе о проблемах пространства, времени, движения, числа, воли, брака, собственности, трагического, науки, осталось узким и сомнительным, ибо всегда стремились найти решение вопроса вообще, вместо того, чтобы понять, что существует множество ответов для множества вопрошающих, что философский вопрос представляет собою только замаскированное желание получить определенный, уже содержащийся в самом вопросе ответ, что к великим вопросам данной эпохи надо относиться как к чему-то чисто эфемерному и что, следовательно, необходимо допустить существование группы исторически-обусловленных решений, обзор которых—при полном устранении личных убеждений—только и может привести к раскрытию последних тайн. Для истинного мыслителя не существует абсолютно правильных или абсолютно неправильных точек зрения. Пред лицом таких трудных проблем, как про-

блема времени или брака, недостаточно апеллировать к личному опыту, внутреннему голосу, разуму, мнению предшественников или современников. Таким путем можно узнать только, что является истинным для самого себя, для своего времени, но это далеко не все. Иные культуры—иное выражение, иные люди—иные истины. Для мыслителя эти истины либо все действительны, либо ни одна из них не действительна.

Становится ясным, насколько можно еще расширить и углубить западно-европейскую критику мира, какое бесконечное множество предметов, выходящих далеко за пределы невинного релативизма Ницше и его современников, надлежит еще включить в круг исследования, какой утонченности чувства формы, какой степени психологической прозорливости, какого самоотречения и независимости от практических интересов, какой необ'ятности горизонта необходимо достигнуть прежде, нежели позволено будет сказать: мировая история понята, мир понят, как история.

II.

Всему этому, этим произвольным, узким, привнесенным извне, продиктованным собственными интересами, навязанным истории, формам, я противопоставляю естественную, „коперниковскую" форму мирового процесса, глубоко ему присущую и открывающуюся только непредвзятому взору.

Вспомните Гете. То, что он называл живой природой, есть то же самое, что я называю мировой историей в самом широком об'еме, миром, понимаемым, как история. Гете, который в качестве художника не переставал изображать жизнь, описывать возникавшие у него образы в их развитии, описывать то, что становится, а не то, что завершилось, как об этом красноречиво свидетельствуют его „Wilhelm Meister" и „Wahrheit und Dichtung", ненавидел математику. В математике миру, как организму, противопоставляется мир, как механизм, живой природе—мертвая природа, форме—закон. Каждая строчка, написанная Гете в качестве естествоиспытателя, имела, напротив, своей задачей изобразить наглядно форму того, что становится,—„отчеканенную форму в процессе ее живого развития". Способы, к которым прибегал Гете для того, чтобы проникнуть в тайны явления, находящегося в состоянии движения, состояли в наблюдении, переживании, сравнении, непосредственном внутреннем убеждении, точном

чувственном воображении. Это и есть средства всякого вообще исторического исследования. Других не существует. Эта божественная прозорливость позволила Гете произнести в вечер битвы при Вальми, у бивуачных костров, известные слова: „Отсюда и сегодня начинается новая эпоха мировой истории, и вы можете сказать, что вы при этом присутствовали". Ни один полководец, ни один дипломат, не говоря уже о философах, не чувствовал так непосредственно шагов истории. Это—самое глубокомысленное суждение, какое когда-либо было высказано по поводу великого исторического события в момент его совершения.

И подобно тому, как Гете прослеживал развитие формы растений, происхождение позвоночных животных, отложение геологических пластов—судьбу природы, а не ее причинные связи, я хочу попытаться выявить из всего комплекса чувственно-воспримемлемых деталей язык человеческой истории, ее периодическую структуру, дыхание истории.

Человека обычно причисляли, и не без основания, к организмам, живущим на земной поверхности. Строение его тела, его естественные функции, весь его внешний вид—все это черты какого-то более обширного единства. Но, несмотря на ясно ощутимое сродство между судьбой растений и судьбой человека (вечная тема всякой лирики), несмотря на сходство истории человечества с историей всякой иной группы живых существ высшего порядка (тема бесчисленного количества сказок, легенд и басен)—тут делается какое-то исключение. Между тем именно в этом пункте надо производить сравнения, предоставляя миру человеческих культур свободно и глубоко воздействовать на силу нашего воображения, а не втискивая этот мир в рамки предвзятой схемы. Надо, наконец, увидеть в словах юность, расцвет, увядание—которые являлись до сих пор, а теперь в особенности, как общее правило, лишь выражениями суб'ективной оценки и глубоко личных интересов социального, морального и эстетического характера—об'ективные обозначения органических состояний. Поставьте античную культуру, взятую как в самом себе замкнутый феномен, как тело и выражение античной души, рядом с культурой египетской, индусской, вавилонской, китайской, западно-европейской, и отыщите типичное в меняющихся судьбах этих больших формаций, необходимое в колоссальном изобилии случайного, и перед вами, наконец, начнет развертываться картина мировой истории, свойственная нам, людям Запада, и только нам.

III.

Возвратимся к нашей специальной теме. С вышеуказанной точки зрения на мир необходимо определить морфологически структуру современности и в первую очередь—промежутка времени между 1800 и 2000 годами. Надлежит установить момент возникновения этой эпохи в рамках западной культуры в ее целом; тот смысл ее, как биографического отрезка, который обязательно можно найти, в том или другом виде, во всякой культуре; органическое и символическое значение относящихся к ней политических, художественных, духовных, социальных комплексов форм.

В этом пункте обнаруживается тождество указанного периода с эпохой эллинизма, в особенности же кульминационного пункта современности—отмеченного мировой войной—с временем перехода эпохи эллинизма в эпоху римского владычества. Римское начало—варварское, лишенное гениальности, с сильнейшим чутьем действительности, дисциплинированное, практическое, протестантское, прусское, дает нам, в поисках аналогий, без которых мы обойтись не можем, всегда ключ к пониманию нашего собственного будущего. Греки и римляне—вот пограничная черта между уже совершившейся и еще предстоящей нам судьбой. Давно уже можно бы и следовало бы найти в „древнем мире" стадию развития, являющуюся совершенным подобием западно-европейской, отличную во всем, что касается деталей поверхности, но тождественную по тому внутреннему стремлению, которое влечет большие организмы к собственному завершению. Сравнивая черту за чертой две эти культуры, мы нашли бы во всем, начиная от троянской войны и крестовых походов, Гомера и песни о Нибелунгах, переходя к дорике и готике, дионисовскому движению и ренессансу, Поликлету и Себастьяну Баху, Афинам и Парижу, Аристотелю и Канту, Александру Македонскому и Наполеону, вплоть до стадии мирового города и империализма, точное alter ego нашей собственной действительности.

Но как односторонне подходили всегда к той интерпретации исторической картины античного мира, которая является тут необходимой предпосылкой! Какой чисто внешний, партийный, узкий характер носило всегда это об ясне-ние! Мы черезчур облегчали себе эту задачу, чувствуя себя слишком сродни „древним". Поверхностное сходство—вот

где лежит та опасность, которая губит исследование древности!

Пора нам, наконец, побороть вечный предрассудок, будто античный мир внутренне нам близок, потому что мы будто бы являемся его учениками и преемниками, тогда как в действительности мы всегда были только его обожателями. Вся религиозно - философская, художественно - историческая, социально-критическая работа девятнадцатого века необходима была не для того, чтобы мы научились понимать драмы Эсхила, учение Платона, Аполлона и Диониса, афинский государственный строй, цезаризм—мы очень далеки от понимания всего этого, а для того, чтобы заставить нас, наконец, почувствовать, как все это нам неизмеримо чуждо и далеко с внутренней стороны, быть может, более чуждо, нежели мексиканские боги и индусская архитектура.

Наши воззрения на греко-римскую культуру всегда колебались между двумя крайностями, причем схема „древний мир—средневековье—новое время", во всех без исключения случаях, заранее определяла перспективы всех „точек зрения".

Одни, преимущественно деятели общественной жизни, экономисты, политики, юристы, находят, что „современное человечество" неуклонно идет по пути прогресса, высоко ценят это человечество и измеряют по нем все прежнее. Нет такой современной партии, по принципам которой не была бы произведена уже „надлежащая оценка" Клеона, Мария, Фемистокла, Катилины и Гракхов.

Другие—художники, поэты, филологи и философы—чувствуют себя не по себе в настоящем, а потому занимают столь же абсолютную позицию по отношению к какой-либо эпохе прошлого и с этой точки зрения столь же догматически осуждают сегодняшнее.

Одни видят в эпохе эллинизма какое-то „еще не", другие в современности какое-то „уже не", судя всегда под гипнозом картины истории, прямолинейно связывающей друг с другом два этих феномена.

Две души Фауста нашли свое выражение в этом антагонизме. Одних подстерегает опасность поверхностности суждения. От всей античной культуры, от всего того, в чем отражается античная душа, не остается в их руках, в конце концов, ничего, кроме социальных, экономических, правовых, политических, физиологических „фактов". Все прочее получает значение „вторичных последствий". „рефлексов", „со-

путствующих явлений". В их книгах не ощущается и следа мифической мощи Эсхиловых хоров, колоссальной черноземной силы древнейшей пластики, дорической колонны, пыла культа Аполлона, глубины, отличавшей даже еще культ римских цезарей.

Другие, главным образом запоздалые романтики, вроде недавно еще нашумевших базельских профессоров Бахофена, Буркхарда и Ницше, становятся жертвою опасности, кроющейся во всякой идеологии. Они теряются в заоблачных высях древности, являющейся только миражем, отражением их филологически регулируемой чувствительности. Они полагаются на остатки древней литературы—единственный источник, являющийся в их глазах достаточно чистым, но никогда еще великие писатели не оказывались столь несовершенными выразителями своей культуры, как писатели античного мира [1]).

Другие опираются преимущественно на прозаические материалы, состоящие из юридических актов, надписей и монет (в частности Буркхард и Ницше пренебрегали этими материалами, что немало послужило им во вред), и подчиняют им сохранившуюся литературу с ее подчас минимальным чутьем истины и фактов. В виду одного уж различия критических обоснований, исследователи античного мира относились друг к другу несерьезно. Насколько я знаю, Ницше и Моммзен не обращали друг на друга ни малейшего внимания.

Но никто из них не поднялся на такую высоту созерцания, с которой указанная противоположность воззрений сводится к нулю и которая, тем не менее, вполне возможна. Тут-то и отомстило за себя перенесение принципа причинной связи из области естественных наук в область исторического исследования. Пришли к прагматизму, поверхностно подражающему картине мира, рисуемой физикой, к прагматизму, который затушевывает и запутывает совершенно ино-

[1]) Решающее значение имеет отбор дошедших до нас писателей античного мира, являющийся не только результатом случая, но обусловленный по существу определенной тенденцией. Усталый, бесплодный, педантичный, ретроспективный аттицизм эпохи Августа отчеканил понятие классического и признал классическими лишь небольшую группу греческих произведений, начиная от Платона. Все прочее, в том числе вся богатая эллинистская литература, было заброшено и почти совершенно затерялось. Группа сочинений, отобранная педантическим, школьно-учительским вкусом, в большей своей части только и уцелела и под ее влиянием сложилась впоследствии воображаемая картина классической «древности», как во Флоренции, так и в представлении Винкельмана, Гельдерлина, Гете и даже самого Ницше.

родный исторический язык форм, а не дает ключ к его пониманию. Для анализа и приведения в порядок всей массы исторического материала не придумали ничего лучшего, как рассматривать определенный комплекс явлений в качестве первичных, как причину, остальные же явления, в соответствии с этим, трактовать в качестве вторичных, как последствия или результаты. Не одни только практики, но и романтики прибегали к этому методу, ибо и их ограниченному взору история не открыла своей собственной логики, а потребность в установлении имманентной необходимости, наличность которой чувствовалась, была черезчур сильна, если исследователь не был вообще склонен угрюмо повернуться, подобно Шопенгауеру, спиной к истории.

IV.

Будемте попросту говорить о материалистическом и идеологическом рассмотрении античного мира. В первом случае об'ясняют, что причиною опускания одной чашки весов является поднятие второй чашки. Доказывают, что это явление имеет место во всех без исключения случалх—несомненно блестящее доказательство. Итак, мы имеем здесь налицо причину и следствие, причем социальные, сексуальные, да еще чисто политические феномены являются—разумеется—причинами, а религиозные, духовные. художественные факты представляют собою последствия (поскольку, вообще, материалист допускает, чтобы явления этой категории квалифицировались как факты).

Идеологи, наоборот, доказывают, что поднятие одной чашки весов является последствием опускания другой чашки и доказывают с такою же точностью. Они погружаются в культы, мистерии, обряды, тайны стиха и линии и едва удостаивают беглого взгляда низкую повседневность, это тягостное последствие земного несовершенства.

Обе стороны доказывают, апеллируя к очевидному соотношению между причиной и следствием, что другая сторона явно не видит или не хочет видеть истинной связи вещей, и дело кончается тем, что они начинают ругать друг друга слепцами, глупцами, простофилями, бестолковыми или ничтожествами, чудаками или пошлыми филистерами. Идеолог возмущается, когда серьезно относятся к финансовым проблемам эллинов, и вместо того, например, чтобы обсуждать глубокомысленные изречения дельфийского оракула, говорят об

обширных денежных операциях, которые предпринимали жрецы этого оракула с оставленными у них на хранение суммами. Политик же мудро подсмеивается над тем, кто расточает свое воодушевление на формулы древнего культа или на одежды аттических эфебов, вместо того, чтобы написать книгу о классовой борьбе в древности.

Прообразом одного из таких типов является еще Петрарка. Он создал Флоренцию и Веймар, понятие ренессанса и западный классицизм. Второй тип можно встретить с половины 18-го столетия, он появляется одновременно с зачатками политики цивилизации, экономической политики больших городов и, следовательно, раньше всего в Англии (Гроте). В основе здесь противостоят друг другу понимание культурного человека и понимание человека цивилизованного: противоположность эта слишком глубока, слишком человечна, чтобы стало возможно почувствовать, а тем менее преодолеть, неудовлетворительность обеих точек зрения.

В этом пункте и материализм поступает идеалистически. Сам того не зная и не желая, и он поставил свои воззрения в зависимость от внутренних желаний. Действительно, все наши лучшие умы без исключения почтительно склонялись пред картиной античного мира и в этом единственном случае воздерживались от неограниченной критики. Анализ древности всегда затруднялся чувством какого-то благоговения. Во всей истории нет другого примера, чтобы одна какая-нибудь культура возвела в столь пламенный культ воспоминания о другой. Единичным проявлением этого невольного преклонения служит тот факт, что мы мысленно связали древность с новым временем посредством „средневековья", через тысячелетний период низко оцениваемой, почти презираемой истории. Мы, западноевропейцы, принесли в жертву „древним" чистоту и самобытность нашего искусства, ибо мы решались творить не иначе, как бросая искоса взгляды на священные „прообразы", в наше представление о греках и римлянах мы всякий раз вкладывали, вносили чувством то, чего нам недоставало, на что мы надеялись в глубине нашей души. Настанет день, когда тонкий психолог истории нашей роковой иллюзии расскажет нам историю того, чему мы постоянно поклонялись, как античному. Существует мало задач, которые были бы поучительнее этой для глубокого понимания западной души, начиная с Оттона III и кончая Ницше, первой и последней жертвами юга. Гете восторженно отзывается в своей „Поездке по Италии" о постройках Палладия,

к холодной академичности которых мы ныне относимся чрезвычайно скептически. Затем он посещает Помпею и с нескрываемым неудовольствием говорит о своем „странном, полунеприятном впечатлении". Отзывы Гете о храме Пестума и Сегесты, чудесах эллинского искусства, недоуменны и незначительны. Очевидно, Гете не узнал древности, когда она, наконец, предстала пред ним во всей реальности и в полной силе. Это показательно для исторического чутья наших душ— они ищут не впечатлений от постороннего, а отражения чего-то своего. Их „древний мир" был всегда горизонтом созданной ими самими и вскормленный их кровью исторической картины, сосудом для собственного мироощущения, фантомом, идолом. В кабинетах мыслителей и кружках поэтов восторгаются смелыми описаниями жизни античных больших городов у Аристофана, Ювенала и Петрония, южной грязью и чернью, шумом и насилиями, гомосексуальными мальчиками и фринами, фаллическим культом и оргиями цезарей, но, наталкиваясь на подобную картину действительности в современных столичных городах, сворачивают с дороги, рассыпаясь в жалобах и морща нос. „Плохо жить в городах, там слишком много обуреваемых сладострастным вожделением". Так говорит Заратустра. Они восхваляют живой интерес к государственным делам, проявлявшийся римлянами, и презирают каждого, кто не избегает ныне всякого соприкосновения с общественными делами. Существует класс знатоков, для которых разница между тогой и сюртуком, византийским цирком и английской площадкой для спорта, античными дорогами через Альпы и прорезывающими континент железными дорогами, триерами и пароходами, римскими копьями и прусскими штыками, наконец, даже между Суэзским каналом и Суэзским каналом, смотря по тому, является ли его сторителем фараон, или современный инженер,—обладает магической силой, неотвратимо лишающей их свободы суждения. Они согласились бы признать паровую машину символом человеческой активности и выражением жизненной энергии лишь в том случае, если бы машина эта оказалась изобретенной Героном Александрийским. Им кажется кощунством, когда говорят о римской системе центрального отопления или бухгалтерии, вместо того, чтобы говорить о культе Великой Матери с Пессинской горы. И все же для наименования капитала греки употребляли слово ἀφορμή, что означает—отправная точка, а Фукидид восхваляет современных ему афинян (1,70) за то, что они не знали дру-

гих праздников, кроме того, чтобы заниматься своими делами [1]).

Но другие не видят ничего, кроме этого. Они думают исчерпать сущность этой столь чуждой нам культуры, относясь к грекам, без дальних околичностей, как к себе подобным, и когда они делают психологические заключения, они вращаются к системе отождествлений, которая вообще не затрагивает античной души. Они даже не подозревают, что такие слова, как „республика", „свобода", „собственность", служат там и здесь для обозначения вещей, не имеющих ни малейшего внутреннего сродства. Они насмехаются над историками Гетевской эпохи, когда те, составляя историю древнего мира, проводят в ней свои политические идеалы и именами Ликурга, Брута, Катона, Цицерона и Августа, осуждением или оправданием их прикрывают собственные программы или личные мечтания, но сами они не в состоянии ничего написать, не выдав, к какому партийному направлению принадлежит читаемая ими по утрам газета.

Но совершенно безразлично, рассматривать-ли прошлое глазами Дон-Кихота или Санчо-Пансо. Ни один из этих путей не приводит к цели. В конце концов каждый из них позволил себе выдвинуть на первый план тот угол античного мира, который случайно лучше всего отвечал собственным намерениям. Ницше—Афины досократовского времени, экономисты—период эллинизма, политики — республиканский Рим и поэты—императорскую эпоху.

Не то, чтобы религиозные или художественные явления были первичнее, чем явления социальные или экономические. Дело не обстоит ни так, ни наоборот. Для того, кто достиг в этих вопросах безусловной свободы взгляда, не существует по ту сторону всякой личной заинтересованности, какого бы рода она ни была, вообще никакого рода зависимости, никакого приоритета, никакой причины и следствия, никакого различия достоинства и значения. Место, занимаемое отдельными феноменами, зависит исключительно от большей или меньшей чистоты и силы их языка, форм, от мощи их символики, оставляя совершенно в стороне добро и зло, возвышенное и низменное, пользу и идеал.

[1]) Римское otium cum dignitate (благородное ничегонеделание) надо понимать только как обратную сторону энергичной общественной деятельности широкого размаха, а не как баклушничанье дома, растрачиванье своего времени на праздные лирические излияния или ученые умствования, в каком виде оно изображается лишь в относящихся к значительно более позднему времени письмах Плиния младшего.

V.

Рассматриваемая с такой точки зрения гибель Запада представляет собою ни более, ни менее как проблему цивилизации. Здесь пред нами встает один из основных вопросов истории. Что такое цивилизация, как логическое последствие, как завершение и исход данной культуры?

Ибо всякая культура имеет свою собственную цивилизацию. Эти два слова, которые до сих пор служили для обозначения смутного этического различия суб'ективного характера, употреблены здесь впервые в периодическом смысле, как выражения, означающие строгое и необходимое органическое чередование. Цивилизация есть неотвратимая судьба культуры. Здесь достигнута та высшая точка, с которой становятся разрешимыми последние и самые трудные вопросы исторической морфологии. Цивилизация—это те крайние и самые искусственные порядки, на которые способен самый высший тип людей. Эти порядки замыкают собою цепь развития; они следуют, как ставшее за становлением, как смерть за жизнью, как оконченное за развитием, как духовная старость и каменный, окаменяющий мировой город за властью земли и душевным детством, как они, выражены в дорическом и готическом стилях. Они представляют собою неизбежный конец и к ним всегда, с внутренней необходимостью, все же приходили.

Только с этой точки зрения можно понять римлян, как наследников эллинов. Только при таком подходе поздняя античная эпоха предстает в освещении, разоблачающем ее сокровеннейшие тайны.

Какое значение может иметь тот факт, что римляне были в сущности варварами (спор против этого свелся бы к пустым словам), варварами, не предшествовавшими большому под'ему, а замыкающими его? Римляне, со всею их бездушностью, не-философским образом мыслей, отсутствием искусства, с доходящей до свирепости животностью, с исключительной погоней за материальным успехом, стоят между эллинской культурой и ничем. Их сила воображения, направленная всецело на практические цели (они обладали сакральным правом, регулировавшим отношения между богами и людьми, как между частными лицами, но у них не было даже следа мифа), представляет собою способность, которой вовсе нельзя было встретить в Афинах. Греческая

душа и римский интеллект—вот к чему сводится дело. Таково же различие между культурой и цивилизацией. Это верно не только по отношению к античному миру. Каждый раз всплывает снова этот тип сильных духом, абсолютно чуждых метафизики людей. В их руках лежат духовные и материальные судьбы каждой поздней эпохи. Они являлись проводниками вавилонского, египетского, индусского, китайского, римского империализма. В такие периоды буддизм, стоицизм и социализм развивались до степени окончательных мировоззрений, способных еще раз охватить и преобразовать угасающее человечество в его существе. Цивилизация в ее чистом виде, понимаемая как исторический процесс, состоит в постепенной сломке ставших неорганическими, омертвевших форм.

Переход от культуры к цивилизации совершается в древнем мире в четвертом столетии, а на Западе—в девятнадцатом. С этого момента великие духовные решения принимаются уже не „всем светом" (как во время орфического движения в эпоху реформации), в котором сохраняла свое значение, в сущности, каждая деревушка, а тремя или четырьмя мировыми городами, всосавшими все содержание истории, по отношению к которым вся остальная площадь культуры опускается до уровня провинции, на долю которой выпадает только снабжать мировые города сохранившимися еще в ней остатками высшего человеческого материала. Мировой город и провинция—с этими основными понятиями всякой цивилизации выдвигается совершенно новая проблема исторических форм, которую мы, люди современности, как раз переживаем, будучи далеки от хотя бы отдаленного понимания всей ее огромной важности. Вместо мира—город, отдельный пункт, в котором сосредоточивается вся жизнь обширных областей в то время, как остальная их часть увядает. Вместо богатого формами, сросшегося с землей народа—новый кочевник, паразит, обитатель больших городов, настоящий человек факта, лишенный традиций, выступающий бесформенной текучей массой, неверующий, с развитым интеллектом, бесплодный, проникнутый глубокой антипатией к крестьянству (и высшей форме крестьянства—поместному дворянству), т. е. огромный шаг по направлению к неорганическому, к концу — что все это означает. Франция и Англия уже сделали этот шаг, Германия собирается его сделать. За Сиракузами, Афинами, Александрией последовал Рим. За Мадридом, Парижем, Лондоном следует Берлин. Стать провинцией — такова судьба

целых стран, лежащих за пределами светового круга одного из этих городов, как в свое время Крит и Македония, как скандинавский север в наши дни [1]).

Когда-то борьба за идейное содержание данной эпохи велась на почве метафизических мировых проблем, носивших религиозный или догматический отпечаток, между черноземным духом крестьянства (дворянства и духовенства) и „светским" патрицианским духом старых, маленьких, знаменитых городов раннего дорического и готического периода. Такой характер носила борьба вокруг религии Диониса (например, во времена Сикионского тирана Клейсфена [2]) и борьба за реформацию в германских имперских городах и во время гугенотских войн. Подобно тому, как эти города, в конце концов, одержали верх над страной (миросозерцание чисто городского типа встречается уже у Парменида и Декарта), так мировой город одерживает, в свою очередь, верх над ними. Таков духовный процесс всех поздних эпох, как ионической, так и барокко. Ныне, как в эпоху эллинизма, на пороге которой находится создание искусственного и, следовательно, чуждого стране большого города—Александрии, эти культурные центры—Флоренция, Нюрнберг, Саламанка, Брюгге, Прага—превратились в провинциальные города, ведущие безнадежную духовную борьбу против духа мировых городов. Мировой город означает собою космополитизм вместо „родины" [3]), холодное преклонение перед фактами вместо благоговения перед традицией и исконным, научное неверие, эту окаменелость вместо предшествовавшей живой религии сердца, „общество" вместо государства, естественные права вместо благоприобретенных. Деньги, как мертвый абстрактный фактор, оторванный от всякой связи с живыми производительными силами земли, с ценностями, необходимыми для про-

[1]) Это можно подметить в развитии Стриндберга и, в особенности, Ибсена, который всегда был только гостем в цивилизованной атмосфере своих проблем. Мотивы «Бранда» и «Росмерсгольма» представляют собою удивительную смесь прирожденного провинциализма с приобретенным в теории горизонтом мирового города. Нора – это прообраз провинциалки, выбитой из колеи чтением.

[2]) Который запретил культ героя города—Адраста и исполнение Гомеровских песен, чтобы подрезать корни духовной жизни дорического дворянства (около 560 г. до Р. Х.).

[3]) Глубокое слово, которое получает свой истинный смысл одновременно с превращением варвара в культурного человека и вновь утрачивает его, как только цивилизованный человек усваивает девиз «ubi bene, ibi patria».

стой безыскусственной жизни, — вот преимущества Римлян перед Греками. С этого момента возвышенное мировоззрение становится также вопросом денег. Материальное благосостояние является предпосылкой позднее римского стоицизма Катона и Сенеки [1]), а не греческого стоицизма Хризиппа; социально-этический образ мыслей, если хотят претворить его в дело, а не довольствоваться ведением профессиональной — приносящей доход — агитации, доступен только миллионерам в 20-ом веке, но не в восемнадцатом. Принадлежностью мирового города является не народ, а масса. Присущее этой массе непонимание всего традиционного и ее борьба с культурой в лице традиции (с дворянством, церковью, привилегиями, династией, условностями в искусстве, границами возможности познания в науке), ее острая и холодная—превосходящая мужицкую смышленость — рассудительность, ее натурализм совершенно нового характера, заходящий во всех половых и социальных вопросах далеко за Сократа и Руссо и примыкающий к первобытным инстинктам и первобытному состоянию, ее „panem et circenses", выступающее ныне под личиной борьбы за заработную плату и спортивных состязаний — все это означает по отношению к окончательно замкнутой культуре, к провинции, совершенно новую, позднюю и лишенную будущности, но неизбежную форму человеческого существования.

Вот то, что необходимо увидеть не глазами приверженца партии, идеолога, моралиста нашего времени, не под углом какой-нибудь „точки зрения", а со вневременной высоты, направляя взор на мир исторических форм, обнимающих тысячелетия—если действительно хочешь понять великий кризис современности.

Я усматриваю символы первостепенной важности в том, что в Риме, где триумвир Красс, около 60 года до Р. Х., был первым спекулянтом по части земли для построек, римский народ, имя которого красовалось во всех публичных надписях, перед которым трепетали вдали Галлы, Греки, Парфяне, Сирийцы, ютился в неописуемой нищете в многоэтажных наемных казармах мрачных предместий [2]) и относился

[1]) Вот почему влиянию христианства подпали сначала те римляне, которые не могли себе позволить роскоши быть стоиками.

[2]) В Риме и в Византии возродились наемные дома вышиною от шести до десяти этажей (при максимальной ширине фасада в три метра), которые очень часто, в виду отсутствия каких бы то ни было полицейско-строительных правил, обрушивались, погребая под развалинами своих жильцов. Боль-

с полным безразличием или родом спортивного интереса к территориальным расширениям, добываемым силою оружия. В том, что многие, принадлежавшие к родовому дворянству семьи. потомки победителей Кельтов, Самнитян и Ганнибала, вынуждены были покидать свои родовые дома и поселяться в жалких наемных квартирах, потому что не принимали участия в безумных спекуляциях. В том, что в то время, как вдоль Аппиевой дороги воздвигались ныне еще вызывающие восхищение надгробные памятники финансовым тузам Рима, мертвецы из народа бросались вместе с трупами павших животных и городским мусором в ужасающие общие могильные ямы до тех пор, пока места эти не были во времена Августа засыпаны, в целях предотвращения эпидемий, и Меценат разбил на них свой знаменитый парк. В том, что в опустевших Афинах—городе, жившим посещениями чужестранцев и пожертвованиями богатых иностранцев, вроде иудейского царя Ирода,—толпы невежественных путешественников из быстро разбогатевших римлян восхищались произведениями эпохи Перикла, в которых они также мало смыслили, как американские посетители Сикстинской Капеллы в Микель-Анджело. после того как все передвижные произведения искусства были растасканы или распроданы по фантастическим модным ценам, но зато, наряду с глубокими и скромными творениями древнего времени, были возведены колоссальные и претенциозные римские постройки. Во всех этих вещах, которые историку приходится не хвалить или порицать, а только оценивать с морфологической точки зрения, для человека, научившегося видеть, непосредственно проступает наружу определенная идея.

Теперь, как и тогда, вопрос не в том, кто ты родом—германец или романец, эллин или римлянин, а в том, воспитан ли ты, как житель мирового города или как провинциал. Это является решающим моментом во всех областях фактов. Здесь мы встречаемся с новым, и в своем роде совершенным, взглядом на мир, являющимся выражением нового стиля жизни. Происходит в высшей степени показательная и идентичная для всех доселе имевших место случаев метаморфоза. Одна из главнейших причин. почему в хаотической картине исторической поверхности не была обнаружена истинная

шая часть «cives Romani». все содержание жизни которых исчерпывалось «panem et circenses», обладала только дорого оплачиваемым углом для ночлега в этих кишащих на подобие муравейника «insulae».

структура истории, заключается в неумении отделить один от другого взаимно друг друга проникающие комплексы форм культурного и цивилизованного существования. Критика современности стоит тут пред самой трудной своей задачей.

Станет ясно, что с этого момента все великие конфликты в области миросозерцания, политики, искусства, знания, чувства имеют место под знаком этого единственного антагонизма. Что такое цивилизованная политика завтрашнего дня в противоположность культурной политики вчерашнего? В античном мире риторика, в западном мире — журнализм и именно на службе того абстрактного начала, которое представляет собою мощь цивилизации — на службе денег. Дух денег незаметно пропитывает исторические формы существования народов, подчас ни в чем их не изменяя и не уничтожая. Римский государственный механизм оставался от Сципиона Африканского Старшего вплоть до Августа в гораздо большей степени стационарным, чем это принято считать. Но крупные политические партии, проводники устарелой формы политической жизни, являются во времена Гракхов, как в 20-м веке, только кажущимися центрами решающих действий. В действительности римскому форуму совершенно безразлично, что и как говорят, решают и выбирают на помпейском форуме, а у нас в будущем мнения провинциальных газет, а следовательно и „воля народа", будут всецело определяться тремя или четырьмя органами периодической прессы. Все решается небольшим числом выдающихся умов, имена которых в настоящий момент, быть может, вовсе не принадлежат к более популярным, а большая масса политиков второго разряда, риторов и трибунов, депутатов и журналистов, отбор которых произведен по провинциальным горизонтам, поддерживает в низах иллюзию народного самоопределения. А искусство? А философия? Идеалы Платоновского и Кантовского времени имели в виду вообще высший тип человека; идеалы эллинизма и современности, в особенности же социализм и генетически ему близкий дарвинизм с его совершенно негетевскими формулами борьбы за существование и полового подбора, связанные, в свою очередь, с этими учениями женский вопрос и проблема брака у Ибсена, Стриндберга и Шоу, импрессионистские наклонности анархической чувственности, весь букет современных томлений, раздражений и скорбей, выражением коих является лирика Бодлера и музыка Вагнера—все это существует не для мироощущения деревенского и вообще человека, непосредственно близкого к природе, а исключи-

тельно для людей мозга, населяющих мировые города. Чем меньше город, тем бессмысленнее занятие этого рода живописью и музыкой. К культуре относятся гимнастика, турниры, агон; к цивилизации—спорт. Такое же различие существует между эллинской палестрой и римским цирком [1]). Само искусство превращается в спорт—это называется l'art pour l'art—в присутствии высоко интеллигентной публики, знатоков и покупателей, идет ли дело о том, чтобы справиться с абсурдными массами инструментальных звуков, преодолеть гармонические препятствия или „взять" проблему краски. Появляется новая философия фактов, у которой метафизически спекулятивные исследования вызывают только улыбку, возникает новая литература, составляющая потребность для интеллекта, вкуса и нервов обитателя больших городов, но совершенно непонятная для провинциала и ему ненавистная [2]). Ни александрийская поэзия, ни пленеристская школа живописи не представляют решительно никакого интереса для „народа". Переход к новым приемам ознаменовывается тогда, как и ныне, рядом возможных лишь в такие эпохи скандалов. Возмущение афинян Еврипидом или революционной манерой живописи, хотя бы Аполлодора, ныне повторяется в виде протестов против Вагнера, Манэ, Ибсена и Ницше.

Греков можно понять, не рассматривая их экономических отношений. Римлян нельзя понять, не изучив этих отношений. Под Херонеей и под Лейпцигом в последний раз сражались за идею. В первой пунической войне и при Седане уже ясно проглядывают экономические моменты. Только римляне с их практической энергией придали рабскому труду и торговле рабами тот исполинский размах, который является для многих определяющим признаком типа античного уклада жизни. В соответствии с этим только германские, а не романские, народы западной Европы развили из паровой машины ту крупную промышленность, которая изменила всю картину целого ряда стран. Не надо упускать из виду ту связь, кото-

[1]) Немецкая гимнастика, считая с 1813 года и тех в высшей степени провинциальных и самобытных форм, которые ей придал в то время Ян, находится в стадии быстрой эволюции по направлению к спортивности. Берлинские спортивные площадки в дни больших состязаний уже в 1914 году мало чем отличались от римского цирка.

[2]) Литературная борьба, разыгрывающаяся в Германии с 1880 года, представляет собою ни что иное, как борьбу, ведущуюся, между прочим, совершенно незначительными людьми, между поэзией мировых городов и поэзией провинции (отечественное искусство).

рая существует между этими двумя глубоко-символическими феноменами и стоицизмом и социализмом. Только римский цезаризм, возмещенный К. Фламинием и впервые показавший свое лицо в Марии, познакомил античный мир с величием денег в руках сильных духом практических людей широкого размаха. Без этого непонятны ни Цезарь, ни римское начало вообще. Каждому греку присуща какая-нибудь черта Дон-Кихота, каждому римлянину—какая-нибудь черта Санчо-Пансо,—перед этим стушевываются все их прочие качества.

VI.

Что касается мирового владычества римлян, то оно представляет собою чисто отрицательное явление и было не результатом избытка сил одной стороны, которым после битвы при Заме римляне уже не обладали, а результатом недостатка сопротивления другой стороны. Римляне вовсе не завоевали мир — они только завладели тем, что могло стать добычей каждого. Римская империя создалась не благодаря крайнему напряжению всех военных и финансовых вспомогательных средств, как это имело однажды место в борьбе против Карфагена, а вследствие отказа древнего Востока от самоопределения во-вне. Не надо поддаваться иллюзии, вызываемой кажущимся блеском военных успехов. С парой плохо обученных, плохо предводимых, дурно настроенных легионов Лукулл и Помпей покоряли целые государства, о чем не посмели бы и подумать во времена битвы при Ипсе. Митридатская опасность, представлявшая настоящую опасность для этой, никогда не подвергавшейся серьезному испытанию, системы материальных сил, никогда не могла бы иметь такого значения для победителей Ганнибала. После Замы римляне не вели больше ни одной войны против какой-нибудь крупной военной державы, да и не могли бы вести таковой [1]). Классическими войнами римлян были их войны против Самнитян, против Пирра и против Карфагена. Великим их часом была битва при Каннах. Нет народа, который простоял бы целые столетия на котурнах. У прусско-немецкого народа, знающего

[1]) Завоевание Галлии Цезарем представляло собою ясно выраженную колониальную войну, т. е. войну односторонней активности. Тот факт, что война эта является кульминационным пунктом позднейшей римской военной истории, только подтверждает быстро растущее оскудение последней действительными деяниями.

могучие моменты 1813, 1870 и 1914 го, их больше, чем у других народов.

Империализм, окаменелые остатки которого, вроде египетского, китайского, римского государств, индусского мира, мира ислама, могут продолжать существовать еще столетия и тысячелетия, переходя из рук одного завоевателя в руки другого (мертвые тела, аморфные, лишенные души человеческие массы, использованный материал великой истории), я хочу научить понимать в качестве типичного символа начала развязки. Империализм это—цивилизация в ее чистом виде. В этой форме проявления лежит неизбежная судьба Запада. Энергия культурного человека направляется вовнутрь, энергия цивилизованного человека—вовне. Вот почему я считаю Сесиля Родса первым человеком нового времени. Он представляет политический стиль далекой, западной, германской, в особенности же немецкой, будущности. Его фраза „расширение—все" выражает в этой ее наполеоновской конструкции подлинные тенденции всякой созревшей цивилизации. Это относится к римлянам, арабам, китайцам. Здесь выбора нет. Здесь не решает даже сознательная воля отдельных личностей или отдельных классов и народов. Экспансивная тенденция это что-то роковое, нечто демоничное и чудовищное, завладевающее человеком поздней стадии мирового города, принуждающее его служить себе и высасывающее из него все соки, хочет ли он или не хочет этого, сознает это или не сознает [1]). Жизнь заключается в осуществлении возможного, а для человека мозга существуют только экстенсивные возможности [2]). Как ни восстает современный, еще мало развившийся социализм против экспансии, настанет день, когда он с непреоборимостью рока станет главнейшим ее носителем. Здесь язык форм политики, как непосредственное интеллектуальное выражение определенного человеческого типа, соприкасается с глубокой метафизической проблемой: с тем подтверждающимся безусловной обязательностью каузального принципа фактом, что дух есть дополнение протяженности.

[1]) Современные немцы являют собой блестящий пример народа, ставшего экспансивным без его ведома и воли. Они были такими и тогда уже, когда еще воображали себя народом Гете. Бисмарк не подозревал даже этого глубокого смысла созданной им эпохи. Он думал, что достиг заключительного этапа определенной политической эволюции.

[2]) Быть может, таков был смысл глубокомысленных слов, сказанных Наполеоном Гете: «Чего нынче хотят в отношении судьбы? Политика—вот судьба».

Родс является первым предвестником западного типа цезаря, для которого время далеко еще не приспело. Он занимает место между Наполеоном и людьми насилия ближайшего столетия, подобно тому, как Фламиний, толкавший римлян с 232 года к покорению цизальпийских галлов и, таким образом, к вступлению на путь колониальной политики расширения, стоит между Александром и Цезарем. Фламиний был демагогом, строго говоря—частным человеком, пользующимся громадным государственным влиянием в такое время, когда государственная идея всецело подпала под влияние экономических факторов; он, несомненно, является в Риме первым представителем оппозиции цезарского типа. Фламинием заканчивается органическое, опирающееся на идею, стремление к власти патрициата и начинается чисто материалистическая, лишенная этических оснований, безграничная политика экспансии. Александр и Наполеон были романтиками, они стояли на пороге цивилизации и уже были обвеяны ее холодным и ясным воздухом; но первому нравилось разыгрывать роль Ахиллеса, а последний читал Вольтера. Цезарь был только практиком, обладавшим колоссальным умом.

Но Родс под успешной политикой понимал уже исключительно территориальные и финансовые успехи. Эта черта в нем совершенно римская, и он ее прекрасно сознавал. С такой энергией и отчетливостью западно европейская цивилизация еще не воплощалась. Родс, этот сын пуританского пастора, явившийся без всяких средств в южную Африку и составивший себе колоссальное состояние, долженствовавшее послужить ему средством для достижения его политических целей, способен был приходить в род поэтического экстаза от одного вида своих географических карт. Его идея трансафриканской железной дороги от Капштадта до Каира, его проект южно-африканского государства, его духовная власть над магнатами-копевладельцами, железными плутократами, которых он принуждал отдавать свои состояния в распоряжение его идей, его столичный город Булувайо, который он, всемогущественный государственный человек без какого-либо определенного отношения к государству, заложил, в качестве будущей резиденции, в чисто королевском масштабе, его войны и дипломатические действия, его система дорог, синдикаты, войска, его представление о „великих обязанностях людей мозга перед цивилизацией"—все это носит величественный и величавый характер и является прелюдией еще

предстоящего нам будущего, которое окончательно замкнет собою историю западно-европейского человека.

Кто не понимает, что этот исход не поддается никаким изменениям, что можно только желать этого или ничего, что не остается ничего другого, как полюбить эту судьбу или отчаяться в будущем, в жизни, кто не ощущает величия, лежащего и в этой деятельности высших интеллектов, в этой энергии и дисциплине закаленных как сталь натур, в этой борьбе самыми холодными, самыми абстрактными средствами, кто носится с идеализмом провинциала и стремится воскресить стиль жизни минувших времен, тот должен отказаться понять историю, переживать историю, творить историю.

В таком освещении римская империя предстает пред нами уже не в виде однократного, не могущего повториться явления, а как нормальный продукт сурового и энергичного, присущего жителю мирового города в высшей степени практического духовного уклада и как типичная заключительная стадия, которая повторялась уже неоднократно, но идентичность которой до сих пор еще не была установлена. Пора понять, что тайна исторической формы лежит не на поверхности ее и не может быть раскрыта при помощи сходства костюмов и декораций; что в человеческой истории, как в истории животного и растительного мира, встречаются явления обманчивого внешнего сходства, но по существу не имеющие между собою ничего общего (Карл Великий и Гарун-аль-Рашид, Александр и Цезарь, войны германцев против Рима и натиск монголов на Западную Европу) и другие явления, которые, при величайшем внешнем различии, служат выражением идентичных начал—как Траян и Рамзес II, Бурбоны и аттический демос, Магомет и Пифагор. Поймем, наконец, что девятнадцатый и двадцатый века, представляющие собою якобы кульминационный пункт прямолинейно восходящей мировой истории, в действительности являются феноменом, наличность которого можно установить во всякой созревшей до конца культуре—не с социалистами, импрессионистами, электрическими дорогами, подводными лодками и дифференциальными уравнениями, принадлежащими лишь к остову данной эпохи, но с цивилизованным духовным укладом, носящим в себе и совершенно иные возможности внешнего воплощения; что настоящее, следовательно, представляет собою переходную стадию, которая при известных условиях неизбежно наступает; что, стало быть, существуют и совершенно определенные более поздние стадии, чем современная,

западно-европейская; что в прошедшей истории они уже повторялись неоднократно и что будущее западного мира представляет собою, таким образом, не безграничный под'ем и движение вперед в направлении идеалов настоящего момента, с фантастическими перспективами в смысле времени, а строго ограниченный в смысле формы и длительности, и неизбежно определенный, охватывающий лишь немногие столетия отдельный феномен истории, который можно по приведенным примерам обозреть и в существенных чертах наметить.

VII.

Человеку, достигшему такой высоты созерцания, все плоды сыпятся в руки сами собою. К одной означенной мысли примыкают, при ее помощи без труда разрешаются все отдельные проблемы из области религиозного искусства, теории познания, этики, политики и политической экономии, которые в течение десятилетий страстно, но без полного успеха, волновали современные умы.

Означенная мысль принадлежит к числу тех истин, которые остаются неоспоримыми после того, как они высказаны раз с полной отчетливостью. Она принадлежит к числу внутренних необходимостей культуры Западной Европы и ее мироощущения. Она способна изменить в корне взгляды на жизнь тех людей, которые поняли ее до конца, т. е. внутренне ее усвоили. Возможность проследить хотя бы в общих очертаниях будущее всемирно-исторического процесса развития, в котором мы находимся и который мы до сих пор привыкли рассматривать ретроспективно, как органическое целое, представляет собою значительное углубление свойственной и необходимой нам картины мира. Об этом до сих пор мог себе позволить мечтать при своих вычислениях только физик. Это означает, еще раз повторяю, замену и в области исторического исследования птоломеевского аспекта коперниковским, т. е. неизмеримое расширение жизненного горизонта.

До сих пор всякий волен был возлагать на будущее любые надежды. Там, где нет фактов, господствует чувство. Впредь долгом каждого в отношении грядущего будет узнать, что именно может произойти и, следовательно, произойдет с неуклонной необходимостью рока и вне всякой зависимости от наших личных идеалов, или идеалов нашего времени.

Употребляя сомнительное слово свобода, мы отныне не свободны уже больше осуществить то или иное, а только необходимое или ничто. Принять это обстоятельство как „благо"— по существу отличительный признак реалиста. Но сожалеть об этом и порицать, не означает изменить здесь что-нибудь. Рождение влечет за собою смерть, за юностью неизбежно следует старость, жизни вообще присуща определенная форма и предопределенные границы ее длительности. Настоящее представляет собою цивилизационную, а не культурную фазу. В виду этого отпадает целый ряд жизненных содержаний, как невозможных. Об этом можно сожалеть и облечь это сожаление в форму пессимистической философии и лирики— это впредь и будут делать, но изменить это невозможно. Отныне уже нельзя будет усматривать, с полной самоуверенностью, в сегодняшнем и завтрашнем дне рождение или расцвет того, что считается желанным, несмотря на то, что против такого прогноза достаточно красноречиво говорит исторический опыт.

Мне могут возразить, что такое воззрение на мир, дающее уверенность насчет общих директив будущего и отрезывающее все пути пылким надеждам, враждебно жизни и стало бы роковым, если бы оно вышло когда-либо из рамок простой теории и превратилось в практическое миросозерцание группы лиц, под влиянием которых действительно складывается будущее.

Я не придерживаюсь этого мнения. Мы — люди цивилизованные, а не люди эпохи готики или рококо; нам приходится считаться с сухими и холодными фактами поздней жизни, параллелью которой являются не Афины времен Перикла, а Рим эпохи цезарей. Западно-европейскому человечеству не предстоит больше иметь ни великой живописи, ни великой музыки. Его архитектонические возможности вот уже лет сто как исчерпаны. У него остались только экстенсивные возможности. Но я не вижу, какой ущерб мог бы произойти от того, если толковое и преисполненное неограниченных надежд поколение заблаговременно узнает, что часть этих надежд должна рушиться. Пусть неосуществимыми окажутся даже заветные надежды—кто чего-нибудь стоит, превозможет это разочарование. Правда, для отдельных лиц может окончиться трагически, если в решающие годы они проникнутся уверенностью в том, что в области архитектуры, драмы, живописи им недоступны более никакие завоевания. Пусть они погибают! До сих пор не возникало разногласия в том, что тут

нельзя допускать никаких ограничений; верили в то, что каждое время преследует в каждой области свои особые задачи; к ним расчищали путь, в случае надобности, путем насилия и жертвуя совестью, и лишь после смерти выяснялось, была ли эта вера основательна и работа данной жизни необходима или излишня. Но тот, кто не остается попросту романтиком, не станет прибегать к увертке. Это не та гордость, которая была отличительной чертой римлян. Чего стоют люди, предпочитающие, чтобы им сказали, когда они стоят перед истощенным рудником: „здесь завтра открыта будет новая жила“ (как это делает современное искусство, создавая все новые насквозь лживые стили), вместо того, чтобы им указал на новую, лежащую по соседству и еще не подвергавшуюся разработке залежь.

Я смотрю на это учение, как на благодеяние для будущего поколения, ибо оно показывает ему, что возможно и, следовательно, необходимо и что не принадлежит к внутренним возможностям данной эпохи. Бесконечное количество духовных сил расточалось до сих пор на ложных путях. Западно-европейский человек, как он ни мыслит и чувствует исторически, в известном возрасте никогда не сознает своего истинного призвания. Он нащупывает, ищет и сбивается с пути, если внешние обстоятельства ему не благоприятствуют. Теперь, наконец, в результате работы столетий, он получил возможность обозреть позицию своей жизни в связи с общей культурой и проверить, что он в состоянии и должен делать. Если люди нового поколения возьмутся за технику вместо лирики, за мореплевание вместо живописи, за политику вместо теории познания, они сделают то, что соответствует моим желаниям, и ничего лучшего им пожелать нельзя.

VIII.

Остается еще установить соотношение между морфологией мировой истории и философией. Всякое истинное историческое исследование представляет собою подлинную философию—или является просто муравьиной работой. Но философы старого стиля находятся в тяжком заблуждении. Они не верят в изменчивость своего назначения. Они полагают, что высшее мышление имеет свой вечный и неизменный об'ект, что великие вопросы во все времена одни и те же и что они, в конце концов, когда-нибудь могут быть разре-

шены. Но вопрос и ответ сливаются здесь воедино, и каждый большой вопрос, в основе которого уже лежит страстное желание совершенно определенного ответа, имеет только значение жизненного символа. Вечных истин не существует. Каждая философия является выражением своего и только своего времени и нет двух эпох, которые имели бы одинаковые философские задания, поскольку речь идет о действительной философии, а не о каких-нибудь академических пустяках на тему о формах суждения или категориях чувств. Суть не в различии между бессмертными и преходящими учениями, а в том, что существуют вообще только либо такие учения, которые являются жизненными в течение известного периода времени, либо такие, которые никогда не были жизненными. Нерушимость выраженных мыслей—это иллюзия. Существенным является лишь то, какой человек нашел в них свое отражение. Чем больше этот человек, тем истиннее его философия—в том смысле, в каком говорится о внутренней правде великого произведения искусства, вне всякой зависимости от доказательной силы или даже неопровержимости отдельных ее положений. В лучшем случае она может исчерпать собою, реализовать в себе все содержание эпохи и вручить его облеченным в определенную форму, воплотившимся в определенной личности и идее, дальнейшему развитию. Научный костюм, ученая маска философии ничего тут не решает. Нет ничего легче, как взамен отсутствующих мыслей создать систему. Но даже верная мысль имеет мало цены, если она высказана поверхностным умом. Значение какого-нибудь учения определяется исключительно степенью его необходимости для жизни.

Вот почему пробным камнем для испытания ценности данного мыслителя я считаю обнаруживаемую им степень понимания великих фактов своего времени. Только тут ясно выясняется, является ли кто-нибудь просто искусным конструктором систем и принципов, разбирающимся с ловкостью и начитанностью в разных дефинициях и анализах, или же устами его произведений и интуиции говорит сама душа эпохи. Философ, который в то же время не обнимает действительности и не господствует над нею, никогда не будет философом первого разряда Философы досократовского времени были политиками и купцами большого стиля. Платону едва не стоило жизни то обстоятельство, что он захотел осуществить в Сиракузах свои политические идеи. Тот же Платон открыл ряд геометрических теорем, благодаря

которым Евклид получил возможность построить систему античной математики. Паскаль, которого Ницше знал только как „надломленного христианина", Декарт, Лейбниц были первыми математиками и техниками своего времени.

В этом пункте и заключается весьма важное возражение против всех философов недавнего прошлого. Существенным их недостатком было то, что они не занимали решающего места в действительной жизни. Никто из них не оказал, хотя бы одним делом, одной мощной мыслью, решающего влияния на высшую политику, на развитие современной техники, путей сообщения, народного хозяйства, на какой-либо из видов широкой деятельности. Никто из них не оставил следа в математике, физике, государственных науках, чего нельзя сказать о Канте. Если мы бросим взгляд на другие эпохи, то станет понятно, какое это имеет значение. Аристотель обнаружил в своем исследовании о государстве афинян тончайшее понимание социально-политической ситуации зарождающегося эллинизма. Он мог бы с большим успехом заведывать, подобно Софоклу, финансами в Афинах. Гете, который был образцовым министром и которому, к сожалению, недоставало только большого государства, как сферы для его деятельности, очень заинтересовался планом проведения Суэзского и Панамского каналов (он точно предсказал срок осуществления его) и их коммерческим значением. Хозяйственная жизнь Америки, воздействие ее на старую Европу и начавшая тогда только развиваться машиностроительная промышленность не переставали его занимать. Гоббс был одним из отцов широко задуманного плана присоединения Южной Америки к Англии, и если тогда дело не пошло дальше занятия Ямайки, то Гоббсу все же принадлежит слава участника в образовании английской колониальной империи. Лейбниц, несомненно самый мощный ум в области западно-европейской философии, положивший основание дифференциальному вычислению и analysis situs, об'яснил в докладной записке Людовику XIV, написанной им в целях политического облегчения Германии, значение Египта для французской мировой политики. Мысли его настолько опередили его время (1672 г.), что впоследствии были убеждены, что Наполеон использовал их для своей восточной экспедиции. Лейбниц тогда уже доказал то, что со времени Ваграма становилось все более ясным для Наполеона, а именно, что территориальные приобретения на берегах Рейна и в Бельгии не в состоянии принести длительного улучше-

ния положения Франции и что Суэзский перешеек будет когда-нибудь ключем к владычеству над миром. Людовик XIV несомненно не дорос до глубоких политических и стратегических об'яснений Лейбница.

Если после людей такого калибра обратить свои взоры на современных философов, то становится прямо стыдно. Как мало значат они как личности! Какая будничность умственного и практического горизонтов! Не возбуждает ли жалость одна мысль о том, чтобы кто-нибудь из них показал свои таланты в качестве государственного деятеля, дипломата, крупного организатора, руководителя какого-нибудь огромного колониального, коммерческого или транспортного предприятия? Но это не свидетельствует о внутреннем превосходстве, а скорее о легковесности. Тщетно озираюсь я и ищу, кто из них создал себе имя хотя бы одним глубоким и прозорливым суждением о вопросе, имеющем решающее значение для современности. Я наталкиваюсь только на провинциальные взгляды, на мнения, какие имеет каждый обыватель. Когда я беру в руки книгу какого-нибудь современного мыслителя, то я задаюсь вопросом, какое он вообще имеет представление—помимо катедерской или пустой партийной болтовни, соответствующей уровню среднего журналиста, которую можно встретить у Гюйо, Бергсона, Спенсера, Дюринга, Эукена,—о фактической стороне мировой политики, о великих проблемах мировых городов, капитализма, будущности государства, отношения техники к исходу цивилизации, о русском вопросе, о вопросе науки вообще. Гете понимал бы и любил бы все это. У современного философа это находится вне поля его зрения. Я повторяю: все это не составляет содержания философии, но является несомненным симптомом ее необходимости, ее плодотворности и ее символического значения.

Не следует обманываться относительно важности этих отрицательных результатов. Очевидно, утерян всякий смысл философской деятельности. Смешивают ее с проповедью, агитацией, фельетоном или научной специальностью. От перспективы птичьего полета опустились до уровня лягушечьей перспективы. Речь идет ни о чем ином, как о вопросе: возможна ли вообще сегодня или завтра настоящая философия? В противном случае было бы разумнее стать плантатором или инженером, чем нибудь истинным и реальным, нежели пережевывать затасканные темы под предлогом „нового под'ема философского мышления", и лучше скон-

струировать новый двигатель для летательного аппарата, чем новую и столь же излишнюю теорию апперцепции. Вот уж поистине жалкое содержание жизни, состоящее в том, чтобы еще раз и несколько на иной лад, чем это было сделано сотней предшественников, формулировать мнения о понятии воли и психофизическом параллелизме. Быть может, это и „профессия", но, во всяком случае, не философия. О том, что не захватывает и переворачивает всю жизнь эпохи до глубочайших ее глубин, было бы лучше умолчать. И то, что уже было возможно вчера, является сегодня, по меньшей мере, более ненужным.

Я люблю глубину и тонкость математических и физических теорий, по сравнению с которыми работа эстетика или физиолога не более, как жалкое кропательство. За поразительно ясные, высоко интеллектуальные формы быстроходного парохода, сталелитейного завода, прецизионной машины, за тонкость и изящность некоторых химических и оптических процедур я готов отдать всю стильную дребедень современной художественной промышленности вместе с живописью и архитектурой. Я предпочитаю римский акведук всем римским статуям и храмам. Я люблю Колизей и исполинские своды Палатина за то, что коричневой массой своей кирпичной конструкции они демонстрируют перед нами подлинное римское начало, колоссальный практический смысл римских инженеров. Они были бы мне безразличны, если бы еще сохранилась пустая и наглая мраморная пышность цезарей с ее рядами статуй, фризами и перегруженными архитравами. Присмотритесь к какой-нибудь реконструкции императорских форумов—вы увидите точный pendant современных всемирных выставок, нечто навязчивое, громоздкое, пустое, какое то совершенно чуждое и греку времен Перикла, и человеку эпохи рококо важничанье материалом и размерами, аналогичное тому, о чем свидетельствуют руины Луксора и Карнака времени Рамзеса II, этой египетской эпохи „современности", относящейся к 1300 году до Р. Х. Недаром настоящий римлянин презирал draeculus histrio, этого „художника", „артиста", „философа" на почве римской цивилизации. Искусства и философия были уже в эту эпоху не у места—они были исчерпаны, использованы, излишни. Это подсказывал римлянину его инстинкт к реальностям жизни. Один римский закон значил тогда больше, чем вся лирика и метафизика всех школ того времени. Я утверждаю, что в наши дни в ином изобретателе, дипломате или финансовом

деятеле кроется лучший философ, чем во всех тех, кто занимается плоским ремеслом экспериментальной психологии. Такая ситуация постоянно вновь повторяется на определенной исторической ступени. Было бы нелепо, если бы отличающийся известными дарованиями римлянин, вместо того, чтобы в качестве консула или претора предводительствовать войском, управлять провинцией, проводить дороги и строить города или „быть первым в Риме", вздумал ломать голову в Афинах или Родосе над каким нибудь новым оттенком послеплатоновской катедерской философии. Разумеется, никто этого и не делал. Это не лежало по линии эпохи и, следовательно, могло прельщать только людей третьего разряда, которые всегда проникаются как раз духом времени позавчерашнего дня. Большой и серьезный вопрос—настала ли уже для нас эта стадия или еще нет.

Век чисто экстенсивной деятельности, без высокого художественного и метафизического творчества—скажем попросту иррелигиозный век, что вполне совпадает с понятием культуры мирового города—представляет собою эпоху упадка. Несомненно. Но мы не избрали себе этой эпохи. Мы не можем изменить того факта, что мы родились в качестве людей начинающейся зимы полной цивилизации, а не на солнечных высотах зрелой культуры.

Подходя в наше время к какой-нибудь проблеме, необходимо предварительно задать себе вопрос—вопрос, ответ на который у действительно призванных подсказывается самим инстинктом, что доступно человеку наших дней и в чем он должен себе отказать. Существует всегда только крайне ограниченное число метафизических заданий, разрешение которых выпадает на долю данной эпохи мышления. Целый мир лежит уже между эпохой Ницше, обвеянной еще последним дыханием романтики, и окончательно отрешившейся от романтики современностью.

Систематическая философия получила свое завершение с исходом 18-го столетия. Кант придал ее предельным возможностям великую и для западно-европейского духа во многих случаях окончательную форму. За этой систематической философией, как в свое время за философией Платона и Аристотеля, следует специфически столичная, не спекулятивная, а практическая, иррелигиозная, этически-общественная философия. Она начинается, соответственно Зенону и Эпикуру, Шопенгауером, который впервые поставил в центр своего мышления волю к жизни („творческая жизненная

сила"), но, под впечатлением великой традиции, удержал еще мудрствования систематической философии о явлении и вещи в себе, о форме и содержании созерцания, о различии между разумом и рассудком, чем затушевана была более глубокая тенденция его учения. Это—та самая творческая воля к жизни, которая отрицается по-шопенгауеровски в Тристане и утверждается по-дарвиновски в Зигфриде, которую Ницше с блеском и театральностью формулировал в Заратустре, которая при посредстве гегельянца Маркса послужила толчком к политико-экономической, а при посредстве мальтузианца Дарвина—к зоологической гипотезе (эти две гипотезы сообща и незаметно преобразовали мироощущение западно-европейских жителей мировых городов), которая породила, начиная с Геббелевской Юдифи до Ибсеновского Эпилога, ряд трагических концепций того же типа и тем исчерпала цикл истинных философских возможностей.

Систематическая философия нам теперь бесконечно далека, этическая же завершена. Остается еще третья, соответствующая эллинскому скептицизму, возможность в рамках мира идей Запада, именно та, которая характеризуется неизвестным до сих пор методом сравнительной исторической морфологии. Возможность, стало быть, и необходимость. Античный скептицизм неисторичен—его сомнение сводится к простому отрицанию. Западный скептицизм, если он хочет обладать внутренней необходимостью, если он желает быть символом нашего клонящегося к концу духовного уклада, должен быть насквозь историчен. Он исходит из понимания всего в относительном смысле—в качестве исторического феномена. Приемы его психологические. Скептическая философия выступает в эллинизме в виде отрицания философии—философию об'являют нецелесообразной. Мы же, в противоположность этому, принимаем историю философии как последнюю серьезную тему философии. Это скептицизм. И греки, и мы отказываемся от абсолютных точек зрения, греки—иронизируя над прошлым своего мышления, мы же рассматривая его как организм.

Скептицизм является выражением чистой цивилизации, он разлагает картину мира предшествующей культуры Все прежние проблемы превращаются тут в проблемы генетического характера. Убеждение в том, что в основе всего естественного и поддающегося познанию лежит элемент историчности, в основе мира, как реальности, лежит *я*, как возможность, в нем осуществившаяся, что не только вопрос

„что именно", а вопросы „когда" и „как долго" содержат в себе глубокую тайну,—приводит к тому факту, что всякое вообще явление, какой бы характер оно ни носило, должно быть и выражением чего-то живого. В ставшем отражается становление. В старой формуле esse est percipi сквозит первобытное ощущение, что все существующее должно стоять в решающем отношении к живому человеку и что для мертвого ничего здесь более не существует. Но „покинул" ли он мир, свой мир, или упразднил своею смертью его существование? Вот в чем вопрос. Но как раз это отношение исследовалось мыслителями систематического периода философии лишь с формальной, естественной, вневременной, следовательно, критико-познавательной точки зрения. Имелся в виду „человек как таковой", а не определенные исторические люди. Для мыслителей этического периода, уже для Шопенгауера, вопрос этот отступил на задний план перед другим вопросом—в идеалистической или утилитарной его постановке—о ценности того, что существует здесь для отдельного человека или для всех людей. Но и тут имели в виду „человека" как тип, не исследуя правомерности выводов столь общего характера. Теперь лишь, наконец, в стадии историко-психологического скептицизма, начинают замечать, исходя из непосредственного чувства жизни, что вся картина окружающего мира есть лишь функция самой жизни, зеркало, выражение, символ живой души и прежде всего—каждой отдельной души, взятой самой по себе. Познавание и квалификация также представляют акты живых людей.

Для мышления раннего периода внешняя действительность есть продукт познания и повода для этической оценки; для мышления позднего периода она—прежде всего символ. Морфология мировой истории необходимым образом становится универсальной символикой.

Благодаря этому отпадают претензии высшего мышления на открытие всеобщих и вечных истин. Истины существуют только по отношению к определенному человеческому типу. Эта философия сама может быть, таким образом, только выражением и отражением западной души (в отличие ее хотя бы от души античной или индусской) и к тому—только в ее цивилизованной стадии. Этим определяется содержание сказанной философии в качестве миросозерцания, ее практическое значение и сфера ее действия.

ТРИ ПОРТРЕТА.

Теодор Дейблер [1].

I.

Шагал.

Среди нас живет дитя космоса: Марк Шагал. Сказочный принц абсолютной краски. Краска для него—царство небесное, его земля. Еще никто не господствовал в своем царстве краски с такою уверенностью и милостью. Все обстоит наилучшим образом там, где она воскровеняется: потому что в сущности каждое сильное чувство, уже ради своей неподдельности, хорошо. Редко—но хорошо.

Краска Шагала—девственная краска: доброта в космосе. Он, русский, совсем сказочно об'ясняет себе мировую душу. Исходя от чувства. Он хочет дойти до корня вещей, увидать их сущность. Но это не загадки, а вещи. В сущности, он их осязает, имеет их даже в голове. Именно наяву. Ему, Шагалу, не снится, а он рассказывает нам свои сказки.

Шагал провел детство в мелочной лавке отца. Все еще вверх и вниз прыгают и летят в его воображении весы. Он весьма осмотрительно взвешивает свои краски: приправляет

[1]) Теодор Дейблер является лучшим истолкователем новейшего искусства, которое в Германии получило название экспрессионизма. Основоположником этого течения считают Пикассо, а наиболее видным из вождей его признают русского художника В. В. Кандинского, затем Пехштейна, Кокошко, Мединера, а также приводимых в настоящей статье Шагала, Барлаха и Фр. Марка. В скульптуре лучшие образцы экспрессионизма дал недавно умерший Вильгельм Лембрук.

Экспрессионизм не ограничивается, однако, только изобразительными искусствами, но распространяет свое влияние и на изящную литературу—на поэзию и художественную прозу. Т. Дейблер, будучи больше известен, как критик, выступает также и в качестве экспрессионистического поэта.—*Peд.*

желтым, перчит красным. Лиловым он устанавливает равновесие. Да еще каким лиловым! Такая краска бывает только у него одного. Надо отдать ему справедливость: его весовые чаши умеют-таки прыгать. На одной картине самовар и синий мужчина держат противовес. Самовар—черный с белым, стоит далеко впереди и тяжелее синеобмундированного. Хотя он и теряет капли из крана. Жандарм видит это и сердится. Но равновесия он не устанавливает—он, синий жандарм: наоборот, его плоская тарелка—шапка летит с его головы долой, как взвившаяся весовая чаша. Сейчас же там, где глаз Шагала ее улавливает, устанавливается им художественное равновесие. Вероятно, некий забавный вымысел в мозгу ошапочненного выкинул эту штуку. На столе пляшут мужичек и бабенка, маленькие, как игрушки. Они поместились бы на весах, до того они крохотны. Кроме того, тут же мы видим еще своего рода сказочные качели. Кто больше весит—плясун или плясунья?—Музыку делает самовар: ибо в нем кипит во всю. Как увесисто все еще спадают с него капли! Из гудящего самовара. Значит, ворчащий самовар напротив ворчащей башки—на одной и той же картине. Весы. Следовательно еще раз вопрос: кто весит больше?

Все та же картина: на заднем плане окно с прямоугольным разрезом. Чрез окно, или лучше—в окне, видны: луна с ее синими значениями и серебряными доказательствами. Дерево—все в звездах. Звезды, превратившись в миловидности, стали цветами. Затем (все еще в окне): освещенная кометами и ракетами ночь. Как нечаянная радость, как неожиданный сюрприз: реющие чуда. Потом какой-то дом, собственно дом вообще. Дом с одним глазом. Все это видно в окне и разделено в ящиках, как в отцовской мелочной лавке. Таким образом все окно как бы шкаф с выдвижными ящичками.

Вот Шагал пишет эту лавку отцовских времен. Опять-таки сказочную лавку. Все опять точно взвешено. Удивительно просевано. Кто может дать отчет о красках! Все бархатности мира соединяются и скоморошничают. Говоря еще о синем жандарме и о самоваре, мы любуемся чернотою ночи с ее снежными возможностями. Как задушевно играет луна на черном котле! И синяя правда во всей картине! Да, она здесь всюду разлита, как оно и должно, и может быть с правдой. Она налицо.

Есть у Шагала романтизм—романтизм Степки-Растрепки. Синий юноша кичится пуговицей своего пиджака: он прини-

мает ее за орден. Он держит ее правой рукой. В левой у него сигара. Положение, правда, двусмысленное. В чем дело? О чем идет речь? Анализ детской души? радость?

Голова „синего" отделена от туловища. В мозгу есть еще иное чувство сладострастья, чем в пальцах, ощущающих радость. Голова на этот раз не более, чем толчок в бутылке. Последняя несется навстречу летящей голове. Клецки на столе тоже клонят к тому, чтобы быть съеденными. Они тоже стремятся ко рту, за бутылкой. На столе к тому же еще лежит чудовище: полусобака, полурыба.

Мы описали вторую картину. Прежде, чем пойти дальше, рассмотрим еще некоторые „художественно-исторические излишества". Шагал часто напоминает тосканские примитивы: взлетающие члены также ведут свое происхождение из долины Арно. Во Флоренции есть в самом деле, кроме появляющихся отовсюду и держащих под рукой свою голову святых,—сами по себе действующие, отрезанные руки и ноги. Особенно у Беато Анжелико, который раз написал целый венок таких членов. Тут, вокруг Спасителя, сопоставлено все: плюющая рожа, рука с прутом, другая с напоенной уксусом губкой и т. д.—все в ампутированном виде.

В Сиенне верхом на лошади наезжает на Massa Marittima кондотьер Ричио. Симоне Мартини внес его в ночную темноту желтой и серой краской. В этой бесперспективной картине со всадником мы видим еще средневековый импрессионизм: на долго нечто этому подобное в последний раз. Затруднения, которые ожидают всадника для того, чтоб пройти через тын с колючими проволочными заграждениями (конечно, таковых тогда не существовало), производят вполне футуристическое впечатление. Такое же впечатление производят маленькое крепостное укрепление и палатки в черносиней ночи. Это призрачное, навсегда ушедшее из Тосканы, появилось снова среди нас в России с Шагалом. Только, конечно, Шагал не воинственен, а идилличен. Вообще совсем иной. Но можно все-таки сказать: возобновленный. Потому что такое представление о проникновении в ночь, такая бесперспективность путем вовлечения в сон раз уже появилось между нами. Тогда—в Тоскане!

У сегоднешнего русского именно телега с желтыми колесами развертывает перед нашим воображением прекраснейшее видение. Два солнца среди ночи. Телегу тянет белая лошадь. Белая, как облако, лошадь—кобылица. Ее жеребенок уже виден в материнском чреве. Изогнут как серп, ногами

вверх, лежит, он нерожденный, под материнским сердцем. Может быть это видят крестьянские ребятишки на нижнем краю картины. Синяя корова лежит в желтоокаймленной телеге и прижимается к черносиней ночи. Может быть и сама ночь беременна. Наверно животное должно быть зарезано для того, чтобы войти в вышнюю ночь. Оно спит, ему снится синий сон. Бедная корова—так значит на бойню? Очень грустно. Она войдет в ночь синей правды. Милое животное! Кучер страшен. Так как это может быть только человек. Он—призрак с луны. С лунной фазой в затылке. Он движется вперед. Как луна. Около нас очеловеченная луна. О, этот кучер с прозрачной красной кофтой и жеребой облачной кобылой! Вслед за телегой идет, плетется женщина. Легкой походкой движется она в лиловом ритме ночи. И несет притом тяжелого теленка. Неужели и его на бойню? Она, кажется, любит теленка, она взяла его на плечо, как ребенка, или как свое самое дорогое имущество. Она оглядывается назад. Лотова жена тоже остановилась и оглянулась назад. Эта баба зато всегда останется на земле, ибо ее взор проникает до самого края ночи. Страшно много она может значить. Возможно только предсмертный путь теленка. Разве это так мало? Может быть теленок под мясничий топор вовсе и не попадет?

Эту женщину я уже видел и раньше. А именно в Умбрии у Перуджии или в Муджелло. Джиотто подслушал ее шаги по траве. Все его крестьяне шагали так непринужденно, просто и легко. Сто лет спустя она была служанкой Юдифи у Сандро Ботичелли. Такая же несведующая, как ныне русская баба. Они обе тождественны, или родственны. Нужно только подумать, глубоко вздохнув, и нам это вспомнится. Значит—родственности сквозь части света и столетия. Марк Шагал: что за чудесная радуга, перекинутая через ночь.

Другой раз Шагал показывает нам себя как человека в луне. Патинованозеленый носится он, с лейкой и звездообразными глазами на платье, над куполами православных церквей. Как знаменье более кротких будущих времен, стоит там виденная во сне ослица; ибо близнецы. первый получеловек и самое доброе животное, присосались к вымени этой ослицы. В России не волчица будет кормить грудью близнецов, основателей города. Шагал полон чудесного сарматского крестьянства.

Шагал возвращается из Парижа. Чрез окно он видит пирамидальность великой столицы. Эйфелева башня—лишь

железный обелиск рядом с астральными громадами хрустальных тетраэдров на берегах Сены. Один только Шагал счастливец может их видеть таковыми. Будничные люди должны довольствоваться Эйфелевой башней. Шагал—голова Яна: он в одно и то же время видит Париж и глядит в обратную сторону. Значит, мозг с двумя ликами. Он прорывается в настоящее и зависит от сверхнастоящего. Его зверь часто крадется по подоконнику. Не то крадущаяся кошка, не то получеловеческий облик. Ночью она большею частью запрятывается в черепную комнатку Шагала и начинает там приятно мурлыкать. Тогда для присутствующих Шагал будто бы храпит. Его серебристо-синяя крестьянская мышь выюркивает при этом из головы и шуршит в хламе в углу. Сверкая и чиркая, взлетают его душевные светлячки. Паук его забот прядет свою фантастическую паутину дня и липнет в ней ночью в оконных рамах или же в решетках Эйфелевой башни. Пока не взойдет высоко луна.

Шагал написал сотворение Евы из Адамового ребра. Он сведущ в удвоениях. Золотые станьоловые солнца восходят над четверными пурпуровыми горизонтами. Деревья из лунного света выцвечивают в ночь лиловые тайны. Они понесут синие плоды спокойствия. У Шагала своя совсем особая ночь.

II.

Барлах.

Барлах—это чаяние космического и страх пред ним. Он избран великим простором и ширью России: он должен был стать ее пророком. Но сарматская земля это—бесконечность вокруг религиозного вкоренения. Россия не родила еще свою звезду: Россия беременна. Маленькие народы, присоединенные к великой стране, взывают к кометам, боятся полярного сияния. Но Барлах был потрясен в сердце России. Он почуял во время короткого там пребывания, что возвещенная звезда взойдет. Это принесет людям много страданья.

Ныне Барлах опять на северо-западе. Оттуда он и родом. Лишь паника пробудилась в нем на русском востоке. С той поры он дичится детей и пугается каждого часа. Он только кажется нам эпизодичным, на самом же деле он ошеломлен тем, что живет. Не по недоразумению-ли только стали мы людьми? Барлах наивен: он не хочет разрешить собственную

свою загадку, но ему стало ясно, чем себя успокоить: он стал скульптором. Первостепенным для него является не форма, а материя. Земля: она становится деревом. Но первым долгом сущность материи: земля порождает крестьян. Его зачастую прямо-таки кубистический строй не случаен и не выдуман. Он рождается из самопонятности его взгляда, из сжатости, высчитывания всех возможных изображений. Скульптура служит Барлаху для выявления души. Для того, чтобы вынести ее в мир: он экспрессионист! Ни следа восточного фатализма: утренняя заря, вечерняя звезда на каждом шагу. Притом всегда европейская выдержка—таков он. Одиночество, но оно говорит с другими, говорит о другом. Потому нередко страсть к приведениям.

Много страданья: конечно! Беременные женщины. Часто грустные, ужасно скорбные. Но потом опять сидящие вместе, поддерживающие свою беременность, выкрикивая свою любовь деревьям и нашим облакам. Да, облака. Когда-нибудь они сотворят чудо. Ветер—их ваятель. Так, восседая на облаках, как на троне, приидет раз Спаситель.

Созданья Барлаха охотно смотрят в облака. Часто на звезды. Но всего охотнее, когда ветер тащит через воздух целые караваны туч. Вот несет мужчина свечу, чтобы что-то разведать. Так как это нечто невыразимое, то на зажженной свече танцует звезда. Рукою он защищает ее от ветра. Мужчина в плаще ищет чего-то туманного. Где?

Вот это можно видеть у Барлаха в деревне. Везде большое „где“. Только у беременных женщин верное „вот“. Одна из трех несет под сердцем грозу. Наконец-то она разразится. Страшное, должно с пламенными мечами вдруг стать пред нами. Нечто полное нетерпенья трещит в барлаховских деревянных матерях. Когда Он приидет?

Раз спящей женщине снится. Она скромно облачена. Все складки лежат как бы во сне. Слишком просто лежат они. Так значит вся деревянная пластика спит? Над нею сновиденье. Или даже призрак? Может быть, женщина не видит, что происходит над облаками сновиденья? Апостолы спали и тоже не видали, как Спаситель говорил к ангелу с чашей. Во всяком случае женщина должна спать для того, чтобы свершилось великое. Беременность она почти-что не ощущает—она не тяжелее кошмара сновиденья. Какой она при этом имеет вид, этого она тоже не знает. Каждый призрак имеет свое „позади“. Итак что-же происходит над спящей? Далекая гора: она—греза. Над нею призрак: прилетает Грядущий. Не над

облаками, как думали. Он сам—облако. Тяжелое—как грозовая туча. Не сын одной из них, а великий Грядущий! Он становится управляемым существом. Но в сновидении это не легко, ибо о нем лишь снится. Птицеобразный с воздушным туловищем, он может, однако, править парящими ногами. Он—новое направление.

Много тяжелого должны мы нести, много тяжелого видеть во сне. Все это пред нашими глазами в дереве.

III.

Марк.

Наше время чревато великим: новым порывом души. Собственное „я" сотворяет свой мир. Условностям об'явлена борьба. Сопротивления лишены значения.

Франц Марк поскакал вперед для того, чтобы поднять свое красочное знамя. Он сам был „Синим всадником": у коня, на котором он сидел, была синяя душа, как у него самого. Так нес он свое знамя над синими ледниками, над синецветущими лугами, чрез белую толпу туч—в яркую синеву. Внезапно он остановился: навстречу ему катило свои синие волны бушующее море. Здесь в мягкий песок водрузил он свой штандарт. Франц Марк ведь был знаменосцем!

Нам не нужны происшествия, для того чтобы их иллюстрировать, культ предков у нас в крови; каждая верно примененная краска есть победа над хаосом. Каждый пестрый молньелуч—предостережение филистеру, чтобы он не слишком удобно и мягко погружался в перины созданного им мира. Прочь со всеми пуховиками и подушками комфорта: пусть они улетят, пусть станут тучами, пусть привлекут молнии, разразят грозу! Град, непогода, гром—все это внутри нас. Пусть красно прокатится туча над полуденными лугами.Красной как если бы наступил вечер, ибо от нас, людей, пойдет и зажжется внезапно среди бела дня мировой пожар. Пусть прокричит о нем вверх широко раскрытое сердце. Об этом нам уже возвещает Франц Марк.

Он останется среди нас. Он оставил нам своих зверей: для того, чтоб мы их любили и не позабыли их творца. Звери здесь среди людей представляют то, что есть выразительного в характере, ибо они просты.

Каждый зверь воплощает свой космический ритм. Различные виды зверей зависят от звезд. Когда какой-нибудь род

зверей, исчезает с земли, то там, наверху, в созвездиях, дрожащих как бы от страха, и в их звездном воспламенении происходит что-то особенное. Только человек не может быть до смерти ранен звездами, когда-то приподнявшими его кверху, ибо человек свободен. Это известно Францу Марку.

Каждая вещь воплощает свой зведный ритм, зверь носит его всюду с собою. В каждом звере скрывается зародыш души. Где же она только проявится? Где-то там поверх зверя? В его созвездии? Здесь, на земле, зверь еще не есть завершение себя самого, но скорее его трагический почин. Большинство зверей красивы, но не счастливы. Их воплощение совершилось, может быть, в страхе пред их неотвратимой будущностью в звездах. Вначале был страх.

У зверей. У людей же—решение. Поэтому человек стоит выпрямившись и звезды служат ему венцом; может быть только он один достигнет своей цели. Пока он носит ее еще только в себе поверх войн, над горами и морями.

Все это предчувствует лирик Марк. И еще во многое другое он нас посвящает. Но именно потому, что звериная душа—омут, что сущность зверей проблематична, любит он их. Он хочет их погладить: Марк не верит их оскудению. Очень характерно то, что одну свою прекрасную картину он назвал „Судьбою зверей".

Другое творение Марка носит название „Обезьяний фриз". Неизменность движений у обезьяны, ее беспрестанное лазанье вверх, ее всегдашнее спусканье на руках вниз, трагическое однообразие движений живущей на дереве обезьяны дало повод Марку скеглить этот фриз. В соответствии с ритмическими движениями обезьяны, каждый лист, каждая ветвь стали тут пластическим выражением гибкостей. Таким путем чрез новейший стиль приходим мы к отвлеченностям.

Другая звериная стенограмма Марка называется „Страх зайцев".

Его волки—черная трагика и красный нестерпимый голод. В сущности только еще головы и языки. Эти звери ощущают свою боль от голода в виде красных пятен перед глазами, они крепко прикусились друг к другу, где только могли, для того чтобы взбрызнула и растеклась кровяная звезда, ибо звезда их голода никогда не погаснет. Волчья душа красна и высовывает из пасти алчущий язык. Мы знаем: происхождение свое язык ведет от пламени. Не впадаем ли мы снова в телеологию?

Признак лисицы тоже красный цвет. Но это другое красное. Красное осени. Кажется, что этот зверь является прорывом пламени своей души. Так как все его тело горит, то этот зверь не алчет языком. Лисица была искривлена, но она не была заострена молньеобразно. Так значит — лисица это вообще свое особое красное бытие, не голод, шевелящий языком, не голодное обнюхивание пламени, как у волка. Лисица даже может отдыхать благодаря своему красному бытию. Или, выражаясь лучше, на нем она покоится. Она с'еживается: ее краснота лежит тогда замкнутой в себе самой. Она может закруглиться. Поэтому лисица как бы спавший лихорадочный жар: она славится своею хитростью, потому что она должна отстоять красный цвет, который в ней нашел свое выражение. Волк, напротив, не уловил своей сущности и все еще высовывает за нею язык. Его неуловимая будущность сверкает неотвратимо вокруг него, в кровавых звездах.

Есть коровы всех цветов, но у Марка как раз корова желтая. Она носит в душе каплю солнца. Коровья душа добрая. Часто немного переменчива. Вол как бы существует для нее одной. Он кажется ей черным, так как он должен ее дополнить, как ее ночь: мы говорим о желтой корове. Как наглядно желтится коровья душа среди лугов и ручьев, которые каждый раз синеют, в то время как она, корова, желтая. Так как звери пестры, то они могут, смотря по тому, каковы они сами, видеть окружающее их в различных цветах. Желтая корова видит мир синим. Синие луга, синеватые люди. Марку звери дают предлог писать пестро. Может быть, он при этом понял, что души зверей — цветные сознания. Мы можем сказать с Марком: если на лбу вола может воспламениться звезда, то зверь должен что-нибудь чаять о внутреннем превращении своем в звездное бытие. Может быть, мы знаем это оттого, что на нашем теле не видны озвездения. Для человека звезда восходит в духе.

Народная молва говорит о „лунных телятах“. Как смешно. Возьмем это обозначение в буквальном смысле и станем верить в „лунных телят“. У Марка мы же видали серебряных телят! Такой вот теленок весело прыгает там, мотая головой и задирая хвост, вверх чрез картину, как если бы в животе его был скрыт серп. Ведь кажется даже, будто бы серп беспрестанно заставляет животное нестить через план картины — как ласкающая волна. После у этого теленка вырастают рога; тогда они ссерпаются над головой: серп переходит из души в тело, животное может внутренне успокоиться.

Вол перенимает что-то от ночного ужаса, он даже озвездняется, если он особенно породист, тогда как корова олуняется и озвездняется в меньшей мере. Она солнечной вступает в жизнь: она должна стать плодородной, одарять. Белое молоко льется из шара ее вымени: мы думаем о солнце, которое дарит нам свет. Быки несут над лугом огромный лунный серп, знак бесплодия. Неправда ли, Марк—это игра нашего воображения?

Кажется, что конь у Марка—геральдическое существо, его мистический зверь. Он смотрит в его душу. Пред взором лошади расстилается в больших волнах поднимающаяся вверх равнина. Конь прямо-таки кидается на свою путь-дорогу, он бросается как бы на непрерывно сменяющиеся спины кобыл. Эти спины всегда для него недостижимы, они убегают от него, поэтому душа коня называется: неистовство. Его внутреннее стремление вперед схватывает его в спиралях, прижимающихся к собственному его чутью дороги. Лошадь почти-что телесно переживает пространство. Лошадь должна ясно опознать желтое под ногами для того, чтобы хорошо и безопасно ускакать, поэтому ее душа несомненно синяя. Синяя для того, чтобы легче подняться навстречу желтым солнечным путям. Притом кажется лошади, что ландшафт прямо-таки ударяет в ее бег. К прозрачной ее синеве поэтому примешиваются желтые полосы, и от этого ей хорошо, и так скачет она по дороге вверх и вниз, как бы попадая каждый раз в себя самое. Перед ее синим килем пенится пыль, лошадь чувствует себя не то пловцом, не то на-лету.

Есть люди гор, и есть люди моря. Есть также люди пустыни, они остаются среди нас одинокими. Странники, пилигримы, моряки—все это разновидности, также и всадники. Кто годится в наездники, у того есть стремящаяся вверх синяя душа. Кругом него белооблачно вертится серый как пыль мир. Когда он останавливается, то он познает краски, и тогда они становятся абсолютной краской, совсем пестрой. Когда всадник летит, то его синеву судорожно пробегает серебро. Кто умеет ездить верхом, тот найдет свою синюю зачарованность. Марк—поэт краски. Игрец краской: смелое дитя.

МОЛОДОЕ ПЛЕМЯ.

Будущий историк русской литературы, остановившись на нашей эпохе—а остановиться ведь придется, должен будет отметить два звена ее, разграниченные территориально: литературу, возросшую на родной земле, и литературу зарубежную. Обе они так или иначе отразят двойственный лик нынешней жизни и в синтезе, возможно, явят новое лицо „русского духа". Пока что, разумеется, такое исследование затруднительно: в то время, как „мы", находящиеся по сю сторону, только „приступаем", только, так сказать, чиним перья, „они", менее контуженные и более уцелевшие от разных потрясений, голодовок и эпидемий, уже давно пользуются гуттенберговским станком. К тому же самый материал для исследования недостаточен. Зарубежные издания у нас редки, и мы больше питаемся слухами о появляющихся произведениях изящной литературы.

Но все-таки кое что поддается рассмотрению и сейчас.

* * *

В Берлине издается ежемесячный критико-библиографический журнал „Русская книга". Наряду с необычайным и вполне понятным интересом к тому, что совершается в России, журнал отмечает и наиболее выдающиеся явления в литературе зарубежной. Надо ему отдать справедливость: он любовно относится к тем и другим, ибо его задача сохранять, находить, поддерживать и собирать то, что „было нашей главной и настоящей гордостью: нашу литературу".

Поэтому вполне естественно для такого журнала, когда он задается тревожным вопросом о судьбах русской литературы, в частности о том, „кто возьмет в свои руки и понесет некогда гордо развивавшееся знамя русского искусства?", „Кто-то придет на смену стареющим мастерам?".

Этот вопрос, вызываемый очевидно литературным оскудением, не остается, однако, без ответа. На него отвечает в „Последних Новостях“ Андрей Левинсон, скорбящий о том, что „каждый день в России писатели гибнут, а вместе с ним гибнет и литература“. „Они (писатели) надеются на нас: мы для них кадры будущей литературы“. „Нет,—убежденно говорит он в заключение,—русская литература там, где еще может свободно звучать русская речь“.

Еще более определенно отвечает на поставленный вопрос сам вопрошающий (редактор журнала проф. А. Ященко), а косвенно—издательства, выпускающие книги молодых.

Их немного: А. Дроздов, И. Петрушевский, Е. Ильина-Полторацкая, Вяч. Куликовский, В. А. Монин и др.

Повидимому, это те самые „озимые всходы“, которых с таким нетерпением и тревогой ждет редактор упомянутого журнала. По крайней мере на одном из них—А. Дроздове—он определенно останавливается, как на талантливом писателе, который „среди новых дней поддержит славу русской литературы“.

Четыре книги, как оказывается, уже успел выпустить А. Дроздов в течение одного года. Такая писательская активность и такой аттестат, выданный ему почтенным редактором, разумеется, должны были серьезно заинтриговать, и с большим, признаться, нетерпением ждали мы книг „одного из взошедших на диком поле нашей эмиграции, среди всевозможных чертополохов“, как говорит о нем восторженный рецензент.

И вот книги пришли. Увы! Как бесцветна и посредственна должна быть литература, если приходится на первое место выдвигать автора, подобного Дроздову. Ни выдумкой, ни стилем, ни наблюдательностью молодой автор не отличается. Бледный, штампованный и по газетному стремительный язык не свидетельствует даже о намерении выразиться как-нибудь поострее, чтобы приводимый образ не забылся мгновенно. Повидимому, его главное достоинство для заграницы—это его темы. Они посвящены новой, революционной России, и в этой смелой роли, „бытописателя революции“ он и стяжает зарубежные лавры.

К сожалению, у этого бытописателя есть один довольно немаловажный дефект: русской революции он попросту не знает, так как расстался с ней приблизительно тогда, когда в Петербурге на всех углах стали появляться комиссионные магазины. Они-то и составляют революционный фон его рас-

сказов, посвященных в общем вполне дореволюционным кокаинистам, садистам и истеричкам. Может быть там, заграницей, где каждый эмигрант ощущает смертельную тоску по России, каждое слово о ней волнует и радует и каждый рассказ может сойти за „литературу", подобно тому, как в глухой провинции иллюстрация на открытке заменяет картину. Иными словами, это—литературный суррогат, отвечающий потребностям данного места и данного времени.

Говорить о других еще меньше оснований. Петрушевский и Ильина-Полторацкая уже и просто вне литературы, ибо произведения их—обычная пошлятина мирного времени. Достаточно привести названия книг Полторацкой („Из красивого прошлого", „Улыбки и гримасы жизни", „В погоне за призраком") и имена действующих лиц („Римма", „Адини", „Граф Брюлов", „Мита"), чтобы убедиться в неувядающей жизненности школы г-жи Вербицкой и в нетребовательном вкусе читателей, для которых существуют издательства, печатающие эти пошлости.

* * *

Откровенно говоря, обо всем этом не стоило бы говорить и понапрасну тратить драгоценную бумагу и время, если бы не желание сопоставить зарубежных молодых с нашими.

Как уже было указано, до сих пор гуттенбергов станок не очень щедро расточал свои услуги перед отечественными писателями и, казалось бы, прогулка по садам русской словесности бесцельна, ибо и садов не должно было быть никаких. Однако, они все же имеются. В „бореньях силы напрягая", писатель превозмогал все лишения, начиная с нетопленной квартиры и отсутствия бумаги и кончая наглухо закрытой для него дверью типографии, для себя самого творил воображаемую жизнь. Точно такие же лишения, усугубленные еще и полной неизвестностью, обладает ли хоть каким-нибудь дарованием и стоит ли ему писать, претерпевал и начинающий писатель. Очень возможно, что для многих это „ни ответа, ни привета" сыграло роковую роль и навсегда отшатнуло их от всякой попытки браться за перо. Но возможно зато, что в других, более терпеливых и настойчивых, это глухое затишье породило способность к несуетливому и упорному труду и к более вдумчивому замыслу.

Именно эта черта и отличает нашу литературную молодежь от молодежи зарубежной, которая, повидимому, даже

не задумывается над поисками нового, своего, оригинального, а просто подражает посредственным образцам. И замечательно: в то время как эмигранты, несомненно, располагают гораздо большими бытовыми удобствами, чем оставшиеся на другом берегу, и, казалось бы, могли быть более вдумчивы и спокойны, они своими рассказами, статьями и даже рецензиями вызывают представление о суматошливых корреспондентах, которые наспех набрасывают строки, сидя на вокзалах и в кафэ.

Очень вероятно, что в указанном новаторстве и в непременном стремлении к замыслу сказалась революционная эпоха и тот строй мышления, который незаметно установился у всех, хотя и многими недостаточно ясно сознается. И поэтому естественно, что тяготение к новым формам, или, во всяком случае, к поискам их, заметнее у тех, кто революцию пережил глубже и сильнее и кто невольно должен был набраться у нее новых идей.

Сказалось еще тут и другое, пожалуй, еще более значительное—связь писателя со своей страной. Если старый опытный писатель, имеющий обширный запас наблюдений, оторвавшись от родной стихии, теряет вдруг почву под ногами и совершенно не понимает, что творится на другом берегу, то чего можно ждать от писателя начинающего? Какой запас наблюдений и идей мог он увезти, четыре или три года назад покинув представлявшую хаос Россию? Да он ее просто не успел узнать, а, разумеется, хочет писать только о ней, ибо о чем же другом может думать эмигрант, как не о своей родине?

* * *

Раньше всего, что бросается в глаза у „молодых"—это работа над языком в сторону приближения его к языку „московских просвирен" и в сторону словотворчества. Работа кропотливая, усердная и тщательная. Надо думать, что она находится в плоскости и у истока тех будущих течений, которые серьезно намечаются и уже приобретают национальную окраску в хорошем и культурном значении этих слов. И подобно тому, как всюду в России, во всех областях сейчас наблюдается „хозяйственное" собирание ценностей, такое же собирание, любовное и осторожное, происходит в литературе, которая вдруг почувствовала высокую валюту русского языка, ныне обновляющегося. Кто-то удачно заме-

тил, что из всех родов искусства в России беспримерно развился один род: искусство рассуждать. Вот это-то искусство и обогатило язык новыми оттенками и новыми формами.

Интуитивным зачинателем такой работы над языком в области художественной литературы был Алексей Ремизов. Он и является духовным отцом большинства молодых, перенявших у него и любовь к языку, и, отчасти, сказовую форму изложения.

Можно, разумеется, считать, что еще до Ремизова были в русской литературе образцы стилизованной русской речи и лучшим их мастером обозначился Лесков, но Ремизов все-же пошел несколько дальше. Он не даром примыкает к небольшой группе символистов, являя собой как бы синтез реализма и символизма—синтез, под знаком которого остановилась литература до-революционная.

Из таких его последователей можно назвать Всеволода Иванова [1]), приятного расказчика с убедительной силой чисто живописной выразительности и с выдумкой, приближающей его произведения к той романтике, которой в ближайшие годы, повидимому, будет принадлежать господство—романтике национальной. Сам Всеволод Иванов над языком не работает, пользуясь, очевидно, тем, что сделали за него и до него другие, и в этом его слабость. Обладая несомненными способностями, он пренебрегает трудом отделки, пишет невероятно много, не задумывается над архитектурой своих рассказов, и поэтому легко может обратиться в газетного рассказчика. Но данные у В. Иванова большие. У него по настоящему в руках кисть живописца, беззаботно играющего пестрыми и яркими красками.

К той же школе может быть отнесен и Н. Н. Никитин [2]). Сказовый стиль его произведений преобладает над всем и в нем чувствуется способный, но несколько неумеренный подражатель Е. Замятину, в свою очередь находящемуся под влиянием Ремизова. Так же, как у Замятина, повествование Никитина разговорно и очень часто сливается с диалогом, потому что автор обычно говорит языком своих героев. Это, конечно, делает рассказ стильным, но зато создает монотонность, не располагающую к внимательному чтению.

[1]) Его рассказы напечатаны в „Красной Нови", в сборнике „Доме искусств", в „Петербургском сборнике", в „Красной Газете", в „Правде" и уже успели выйти отдельными изданиями.

[2]) Печатался в „Красной Нови", в „Петербургском сборнике", в сборнике „Доме искусств".

В противоположность эмоциональному Иванову, Никитин совершенно лишен какой бы то ни было лирики. Он сух, мозговит и кропотливо занимается поисками особенных слов, ради которых готов иной раз пожертвовать смыслом.

Но наиболее заметным дарованием среди молодых обладает несомненно Борис Пильняк, уже успевший выпустить книгу „Былье". О нем уже определенно можно сказать, что он порожден революцией и весь пропитан ее величавой сумбурностью, которая гармонично связывает у него героев, их язык и авторские замечания. Другими словами, у него уже имеется свое лицо, а это, как известно, большой плюс не только для автора начинающего.

Сказать о Борисе Пильняке, что он постиг революцию—недостаточно и, пожалуй, даже неверно. Он главным образом увидел ее. В его лице русская изящная литература, неподвижно засевшая в столицах, как бы приобрела зоркого наблюдателя и вполне достоверного корреспондента из самых глухих мест, где революционный вихрь решительнее сбросил все маски, все условности и обнажил сущность пережитого сдвига. Это зарисованное Пильняком типично-захолустное, всегда в сущности преобладавшее в русской жизни, может послужить аспектом для понимания того, что произошло в умах на территории всей России. И если бы какой-нибудь русский человек четыре года пролежал в летаргическом сне и захотел по пробуждении ознакомиться с совершившимся духовным переворотом, ему достаточно прочесть рассказы Пильняка. Это не значило бы, что он все поймет—для этого еще не наступило время, но зато он несомненно стал бы на путь истинного понимания.

Слог у Пильняка грубый, неряшливый, без малейшего уклона к какой-либо точности, вызывающий представление о скульпторе, который работает по дереву топором, и даже не плотничьим топором, а тупым дворницким колуном. Естественно поэтому, что такой инструмент может создать только примитив. Пильняк и является автором примитивов, очень оригинальных, очень выразительных, достоверно наблюденных, но все же примитивов.

Это особенно бросается в глаза, когда Пильняк изображает интеллигентов. Здесь отсутствие чувства художественной меры, обычно замечаемое у Пильняка, доводит его до каррикатуры, которая и обнажает слабое место у Пильняка.

Не от того ли он плохо изображает интеллигента, что сочиняет его? И вообще: только ли он умеет передавать на-

блюденное или еще обладает способностью к вымыслу? Ответы на эти вопросы таят в себе разгадку его писательской значительности.

Если он изобразил лишь то, что хорошо воспринял глазами и ушами, то этого, конечно, еще мало: беллетрист есть раньше всего сочинитель. Русская литература последних двух десятилетий знала нескольких хороших и значительных наблюдателей, которые, однако, дальше „корреспонденций" не пошли. Вспомним Бориса Гегидзе, ошеломившего своею повестью „В университете", где впервые были изображены новые типы среди студентов. Или, напр., вспомним Домрачева, блестяще рассказавшего о том, что происходило в кавалерийских бурсах. Но все остальное, что было написано ими впоследствии, оказалось настолько ничтожным, что оба автора принуждены были замолчать, а затем бесследно исчезли.

Б. Пильняк отлично выдержал экзамен по искусству наблюдения. Теперь ему предстоит показать, насколько он силен в выдумке, без которой беллетрист, если только он не мыслитель,—не беллетрист.

* * *

Можно было бы назвать еще два, три имени, но лучше, однако, выждать. Предстоит появление нескольких журналов и сборников, и они дадут лучшую возможность подведения некоторых балансов. Стоит все же упомянуть новых поэтов—Анну Радлову, В. Рождественского, Марию Шкапскую, Елиз. Полонскую, приятно сочетающих в себе чистую лирику с хорошей изощренностью в чеканке стиха. Подает, как говорится, большие надежды поэт и беллетрист Н. Н. Тихонов. В его стихах звуки и мысли не враждуют друг с другом, как это замечается у многих из его сверстников, а живут в полном согласии между собою. Другими словами, пушкинское замечание, что поэзия всегда немножко глуповата, к нему не относится ни в какой мере. О Тихонове мы еще услышим.

Богат обещаниями пролетарский поэт Казин, изобретательный в образах, свежий, черноземный. Примечателен бесчинствующий, дерзкий и причисляющий себя к имажинистам Александр Курсиков. В нем есть то, чего требовал от каждого писателя Эдмонд Гонкур—сила. Кажется она-то и выведет его на настоящий путь, пока еще заваленный битыми

черепками, щебнем и просто мусором, который остался от предварительных и задорных изысканий в области новой поэзии.

Таково сопоставление. К чему бы ни пришли „отечественные„ авторы, их произведения все же свидетельствуют о преемственной работе, беспрерывно совершаемой. Для того или другого, но место расчищается здесь, а не за рубежом. И совершенно очевидно, что на этом берегу, а не на том создаются кадры будущей русской литературы и здесь же найдутся те руки, которые понесут „некогда гордо развевавшееся знамя русского искусства".

В. Ир.

ОГЛАВЛЕНИЕ.

	стр.
Анна Ахматова. Стихотворение	3
Б. Пильняк. Колымен-город	4
Всеволод Рождественский. М. К. Н. Ветер	17
Вяч. Шишков. Падучая	19
В. Ирецкий. Гравюры. I. Поэт. II. Дионисьева икона	28
М. Левберг. Бальтазар Пуль	37
П. Губер. Лилюли	53
Оскар Шпенглер. Философия будущего (глава из книги „Крушение западной культуры")	75
Т. Дейблер. Три портрета. I. Шагал. II. Барлах. III. Марк	109
В. Ир. Молодое племя	119

AP
50
S48
sb.1

Severnoe utro

PLEASE DO NOT REMOVE
CARDS OR SLIPS FROM THIS POCKET

UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY